

Вячеслав ДЫКИН
Даля ТРУСКИНОВСКАЯ

РИЖСКИЙ РЕДУТ



Серия исторических романов

Даля Трускиновская

Рижский редут

«ВЕЧЕ»

2015

Трускиновская Д. М.

Рижский редут / Д. М. Трускиновская — «ВЕЧЕ»,
2015 — (Серия исторических романов)

ISBN 978-5-4444-7661-1

Летом 1812 года почти 600-тысячная армия Наполеона тремя колоннами вторглась на территорию Российской империи. Целью Северной армии, возглавляемой маршалом Макдональдом, являлась Рижская крепость как главная опорная база русской армии в Прибалтике. Однако расчетливый маршал надеялся не только на мощь своих полков, но и на помощь некоторых влиятельных особ в самой Риге, заинтересованных в устранении русской администрации. В тайную борьбу с вражескими лазутчиками оказались волею случая втянуты друзья – молодые офицеры Александр Морозов, Артамон Вихрев и Алексей Сурков...

ISBN 978-5-4444-7661-1

© Трускиновская Д. М., 2015
© ВЕЧЕ, 2015

Содержание

Пролог	5
Глава первая	9
Глава вторая	17
Глава третья	28
Глава четвертая	36
Глава пятая	45
Глава шестая	53
Глава седьмая	64
Глава восьмая	74
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Вячеслав Дыкин, Далия Трускиновская

Рижский редут (Братство Роченсальма)

Пролог

Сии воспоминания мои касаются непосредственно событий достопамятного 1812 года. Потому я не считаю нужным вдаваться в прошлое, в тонкости и перипетии российской политики предыдущего времени, когда корсиканский самозванец был могуч, а короны европейские так и сыпались к его ногам. Довольно того, что прошлое это было и оставило в душе моей след весьма болезненный. Многое осталось для меня неизвестным и непонятым навеки. Я не царедворец, интриг придворных и политических тонкостей не разумею и разуметь не желаю. Решения покойного государя нашего оспаривать не могу, сколь бы ни были они для меня неприятны. И объявляю сразу, что недоброжелатели государя союзника во мне не сыщут.

Считаю недостойным долго рассказывать об обидах своих, однако придется вкратце упомянуть о них, чтобы стало понятно, почему в начале войны я состоял при вице-адмирале Николае Ивановиче Шешукове.

Коли кому не угодно тратить время на описание ранней юности моей, тот пусть, перелистнув страницы, сразу приступает к последним строчкам сего пролога и к убийству племянницы ювелировой. Но пусть потом не жалуется, ежели что осталось непонятым.

Смолоду я, не отличаясь здоровьем, имел склонность к занятиям умственным, особливо же к языкам. Ровесники мои ненавидели всеми фибрами души латынь и древнегреческий, они бы и от уроков французского шарахались, как черт от ладана, когда французский не был бы в употреблении в свете. Я же находил особое удовольствие, когда, занимаясь переводами, выискивал самое подходящее слово или распутывал заковыристую фразу так, что на русском языке она звучала красиво и складно. Особенно же мне нравилось подбирать соответствующие поговорки, и, бывало, что вся наша дворня (не столь уж великая) вместо своих прямых дел бродила в задумчивости, припоминая русскую пословицу, чтобы наилучшим образом передать французскую. Длилось это, пока не приходила матушка и не разгоняла доморощенных моих толмачей в девичью или на кухню.

Матушка моя происходила из древнего рода и гордилась прадедами своими, что сиживали в Боярской думе еще при государе Михаиле Федоровиче. Она была безмерно предана своей родне, и редкий день в нашем доме не гащивала какая-нибудь из ее многочисленных тетюшек и кузин. Так познакомился я со своим дядюшкой Артамоном Вихревым.

Родство это чрезвычайно забавляло матушку, потому что Артамон, ее кузен, формально будучи мне дядюшкой, был моложе меня на полгода. Будучи одних лет и одинакового воспитания, мы подружились, и именно Артамон сманил меня бежать в Роченсальм, когда нам не исполнилось и четырнадцати.

Роченсальм, наша морская крепость у берегов Финляндских, волновал нас несказанно. Это было место величайшего поражения нашего флота в войне со Швецией, хотя незадолго до того там же мы одержали значительную победу. После того как мир со Швецией заключили, покойная государыня, понимая шаткость и непрочность этого мира, стала действовать сообразно латинской поговорке: «*Si vis pacem, para bellum*», что означает: «если хочешь мира, готовься к войне». Для защиты финляндских шхер со стороны Швеции близ устьев пограничной реки Кюмени основан был город Роченсальм, при котором учрежден огромный порт для гребного флота.

Укреплять Роченсальм послали фельдмаршала Александра Васильевича Суворова. Это была унижительная для него, как он полагал, должность – нечто вроде инженер-инспектора по

фортификации. Но он отнесся к поручению со всей ответственностью и составил план, который государыня немедленно одобрила. Прошло полтора года – и на северо-западном рубеже нашем встала мощная крепость с фортами Ликкола, Утти, Озерный; на нескольких островах, ее окружающих, возведены были сильные укрепления для русского шхерного флота. Шведская крепость Свеаборг имела достойного противника и соперника, ей противопоставленного.

Семейства наши дали флоту немало доблестных офицеров, и мы росли с сознанием того, что сами пойдем служить во флот. Путешествие в Кронштадт было для нас делом обыкновенным, но Роченсальм казался едва ли не землей обетованной. Крепость, которую строил сам Суворов, у которой разыгралось столько морских сражений, находилась к тому же и в пределах досягаемости.

Я неоднократно сомневался в успехе экспедиции нашей, на что Артамон решительно отвечал:

– С нами Бог и андреевский флаг!

Против этого возразить было нечего. Коли мы твердо решились стать моряками, то должны верить и в морские присловья.

Дядюшка мой Артамон все устроил наилучшим образом. Мы запаслись провиантом, скопили немного карманных денег и однажды ночью, выбравшись тайком из спален наших, отправились служить Отечеству. Самое занятное – что, прячась в трюме за ящиками, до Роченсальма мы все-таки добрались. Там и были изловлены.

По виду нашему матросы поняли, что мы из благородного сословия, и отвели нас к старшим офицерам. Мы же, очень этой бедой возмущенные, клялись, что откроем имена наши одному лишь контр-адмиралу Шешукову. Мы знали, что он буквально на днях назначен был командиром Роченсальмского порта.

С адмиралом нам посчастливилось несколько раз видаться при его наездах в столицу, мы оба были ему представлены и полагали, что он двух таких молодцов навеки запомнил. Но Николай Иванович нас в лицо конечно же не признал, и пришлось нам перечислять всю нашу родню прежде, чем он нам поверил.

К счастью, кто-то из общих знакомцев, отправлявшийся в тот день в столицу, не только опознал нас, не только отвез письмо от Шешукова матушке моей, но и сам доставил его, и в тот же день, воспользовавшись связями своими и покойного батюшки, она взошла на борт судна, плывшего в Роченсальм. Там ее тут же принял господин Шешуков.

Матушка моя первым делом поведала контр-адмиралу про мое слабое здоровье и успехи в занятиях, после чего он призвал меня к себе.

– Друг мой, – сказал Николай Иванович. – Я уважаю твое стремление послужить государю и Отечеству во флоте, но не всем же лазить по реям и держать штурвалы. Считай, что я принял тебя на службу, но отправил, как это часто делается, в долгосрочный отпуск для постижения наук. Мне сказывали, про твою способность к постижению языков. Именно во флоте ты найдешь ей достойное применение. Время ныне беспокойное, нам предстоит отчаянная борьба с французским и турецким флотом в Средиземном море, и офицер, знающий языки турецкий, новогреческий, италийский и аглицкий, помимо французского, будет необходим более, чем ты сейчас можешь себе вообразить. Ступай же и учись прилежно! Настанет час – и ты еще повоюешь под командованием моим!

Так и вышло, хотя менее всего мы оба могли предвидеть, при каких обстоятельствах вновь встретимся.

Нас с Артамоном разлучили, и я отправился в столицу зубрить турецкий язык. Артамон же вскоре поступил в Кронштадтское штурманское училище, открытое незадолго до того по воле покойного императора Павла.

В 1805 году мне исполнилось восемнадцать лет. Я был молод, хорошо образован и без памяти влюблен. Избранница моя была двумя годами меня моложе и отвечала мне пылкой

взаимностью. Родители ее смотрели на это, я бы сказал, скептически, полагая, что их красавица-дочь составит себе более выгодную партию. Они помышляли о деньгах, я же вообразил, будто, добившись славы, смогу получить руку Натали. И тут, как нарочно, начались военные сборы. Наконец-то знания мои потребовались Отечеству, и я оказался в составе эскадры контр-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина, которая шла в Средиземное море воевать с французами.

Радость моя была безмерна, тем более что предстояло воевать вместе с моим беспутным дядюшкой. Разумеется, мы с Артамоном встречались и после побега в Роченсальм, но прежней дружбы не получилось – я несколько завидовал ему, что он уже сейчас являлся человеком флотским, а он глядел на меня свысока, потому что я, увлеченный занятиями моими, сделался, по его мнению, совершенно сухопутным человеком. Сам же он вел себя, как надлежит bravому моряку, и шестнадцати лет от роду был с большим шумом изловлен пьяный на квартире известной петербургской девицы вольного поведения и препровожден обратно в Кронштадт, после чего за ним там следили особенно строго.

Артамон прижал меня к широкой флотской груди и тут же познакомил со всеми приятелями своими. Среди них оказался и Алексей Сурков, третий наш родственник (дальний, приходившийся дядюшке моему кузеном, а мне, как ни странно, племянником). Тут бы я мог долго описывать, как осваивался на судне и как новые мои друзья устраивали мне всяческие подвохи. Одна лишь история, как мне рекомендовали подать прошение контр-адмиралу о переводе моем из толмачей в судовые кранцы, дает полное представление о шутках, кои в ходу среди флотских.

Здесь не место для подробного рассказа о наших военных действиях, для этого требуется иное перо и иной склад ума. Скажу лишь, что Сенявин честно делал все то, что от него требовалось по обстоятельствам, кои сперва благоприятствовали нам, а потом переменялись. Мы вынуждены были отказаться от плодов наших побед в угоду – чему? Политическим реверансам, которых мы тогда не понимали и понимать не желали.

Я вернулся в Отечество свое девятого сентября тысяча восемьсот девятого года. Покинул же я его десятого сентября тысяча восемьсот пятого. Четыре года, день в день, провели мы в плавании, сперва столь успешном, потом столь тягостном. Последнюю часть пути я перенес плохо – здоровье мое ослабело от плохого питания и от переживаний душевных. Мы возвращались, как побитые псы, и оттого меж нами не было более согласия.

Прибыв в Ригу, я едва добрался до известного трактира «Отель де Пари», где снял комнату и первым делом написал письма в Санкт-Петербург. Состояние мое не позволяло сразу двинуться в путь, хотя душа летела и рвалась к Натали. Артамон, бывший куда бодрее меня, на другой же день уехал, взяв письма и назначив мне свидание через две недели в Летнем саду. Сурков отправился вместе с ним. Я остался лечиться и сгорал от нетерпения.

Наконец пришло письмо от матушки. Она писала, кроме всего прочего, что Натали сделала удачную партию и вышла замуж за человека богатого и светского. Ничего в том удивительного, как я потом понял, не было – я пропадал невесть где четыре года, а девичья молодость длится недолго. Но в разум я пришел уже потом.

Легко вообразить мою растерянность, отчаяние и все те проделки, на которые способен влюбленный и отвергнутый чудак, начитавшийся впридачу «Страданий бедного Вертера» сочинителя Гёте, ставшего тогда образцом для подражания всем молодым болванам, коих обманули легкомысленные красотки. Пистолеты лежали на столе моем, я три, не то четыре раза переписал завещание и выстриг себе сбоку препорядочный пук волос, чтобы после смерти моей он был послан в черном конверте счастливой изменнице и навеки смутил ее покой.

Тогда-то и пришел ко мне посыльный от г-на Шешукова. Николай Иванович незадолго до того получил чин вице-адмирала и был назначен командиром Рижского порта. Читая бумаги, присланные с английского транспорта, он нашел в списках мое имя и приказал меня сыскать.

– Ну, вот мы и встретились, – сказал он, когда я пришел к нему в кабинет. – Видит Бог, не так я представлял себе эту встречу. Но я рад, что ты вернулся целым и невредимым. Что ты собираешься делать? Очевидно, вернешься в Санкт-Петербург?

– Скорее я поеду в Камчатку, к алеутам или к антиподам, – отвечал я. – В Санкт-Петербург меня доставят разве что связанного по рукам и ногам или же в гробу.

В тот миг устами моими говорил треклятый бедный Вертер, который ни в какой службе, очевидно, не состоял и никакого долга перед Отечеством знать не знал. Но вице-адмирал уже по пылкости моей догадался, в чем моя беда.

– Камчатка далеко, а ты оставайся-ка здесь, – предложил он. – Мне нужен человек, знающий языки и надежный. Здешние толмачи, может, и хороши, но я не желаю, чтобы меня дурачили, покамест я здесь не обживусь и не пойму, кто чего стоит. Полагаю, со временем смогу позаботиться о твоей карьере.

Я сгоряча помышлял уйти в отставку и покинуть флот навеки, но предложение Шешукова мне понравилось. Я поступил под его начало и остался в Риге.

Вот как вышло, что к лету 1812 года я состоял при командире Рижского порта и был доволен своим положением.

Моя рижская жизнь, как я и надеялся, со временем принесла мне успокоение и забвение. Я даже не стал поддерживать переписки с бывшими товарищами моими, включая дядюшку Артамона и племянника Алексея Суркова. Я не хотел давать себе ни малейшего повода для воспоминаний. Хотя время было беспокойное и все мы ждали войны, я после морских моих походов и аглицкого плена ощущал себя погруженным в приятный сон, моля Бога о том, чтобы он подольше не кончался. Я жил в окружении простых и добродушных людей, хорошо справлялся со своими обязанностями и не раз удостоивался похвалы вице-адмирала.

Да, пожалуй, я верно сделал, что сравнил свое меланхолическое состояние со сном – рано или поздно я должен был проснуться.

Глава первая

Это случилось 14 мая 1812 года.

Я жил тогда в премиленьком старинном доме на улице Малярной. Когда-то тут стояла крепостная стена, и хозяин нарочно водил меня в погреб поглядеть на ее остатки. Собственно, сперва здесь селились маляры, и потому улица называлась Малярной, но потом, как я понял, земля в городских стенах подорожала, иметь здесь дом стало недешевым удовольствием, и Малярную начали осваивать люди зажиточные. И хозяин, герр Шмидт, первым делом попытался меня убедить, будто название переведено на русский язык неверно, на самом деле следует говорить – улица Художников.

Помещение это мне присоветовал кто-то из таможенных чиновников, и он же договорился с хозяином. Когда я отправился знакомиться, то сразу отмечал все достоинства и недостатки будущего жилища. Оно находилось далековато от порта, но в тихом месте. Сама улочка имела хорошо коли полторы сажени в ширину. Прежде всего меня удивили двери дома – они были выкрашены в голубую краску и отделаны деревянной резьбой, тоже крашеной, но уже в белый цвет, в подражание лепнине. Тут тебе и завитки, и вазоны с цветами, и ленты с бантами, – словом, все, что в понятии простодушного бюргера означало хороший вкус.

Мне предложили комнату с маленькой прихожей во втором этаже, куда можно было попасть и с улицы, и со двора. За небольшую сумму хозяева взялись кормить меня завтраками и ужинами, а также я мог им отдавать белье в стирку. Тогда-то я и узнал такое здешнее лакомство, как бутерброд. Это была своего рода диковина для человека, который совсем недавно ел жареных осьминогов вблизи острова Наксос.

Единственным недостатком жилища моего была близость ювелирной мастерской. Ювелиры – народ хитрый и имеют дело с сомнительной публикой, покупая краденые драгоценности и переделывая их на иной лад. Об этом мне как-то сгоряча поведала фрау Шмидт сразу после кратковременной ссоры с женщинами из многолюдного семейства ювелира. Время от времени на улице под ювелировыми окнами устраивались то серенады со свистом и выкриками, то побоища – когда полиция, устав гоняться за призраками, собиралась наконец сделать засаду. Но сам хозяин мастерской, герр Фридрих Штейнфельд, производил наилучшее впечатление – как всякий зажиточный, толстый и умеющий быть благодушным немец.

Именно он первый отвел меня в «Лавровый венок» – весьма достойный трактир по соседству, где подавали пиво светлое и темное, с горячими колбасками. Там собирались по вечерам мои почтенные соседи, и таким образом я, можно сказать, был введен в высший свет Малярной улицы.

Поселившись в Риге, я сперва запрещал себе вспоминать про плаванье. И мне это успешно удавалось, пока я не оказывался за обеденным столом или в том же «Лавровом венке». Казалось бы, столько лет пролетело, а не доставало мне жареных орешков, к которым я тогда пристрастился. А вот сладости восточные я именно с тех времен и невзлюбил – в Санкт-Петербурге, мальчиком, ел рахат-лукум и не смущался его приторностью, на островах же отказывался их брать, невзирая на дешевизну. Зато пришлось мне по сердцу крупные и мясистые оливки с Наксоса и греческий овечий сыр, и то и другое было в меру солоноватым.

После скудного пайка, который получали мы на проклятом Портсмутском рейде, меня изумило рижское изобилие мясных и рыбных блюд. Это был подлинный гастрономический разврат – я едва опомнился. Почти отвыкнув от простой и здоровой русской пищи, я привыкал понемногу к пище немецкой. Но в ней мне не доставало овощей, которые у греков употребляются в изобилии, и пряностей, и ароматных трав, а наипаче всего – оливкового масла, его на островах разве что ложками не хлебают, особенно же, масла первого отжима, то есть наилуч-

шего. Мясо же, как я мог заметить, греки едят раз в неделю, не чаще, и дня два в неделю на столе бывает рыба, хотя рыбная ловля – одно из основных занятий островитян.

14 мая 1812 года я вернулся домой довольно поздно и принес из порта немалый моточек контрабандных кружев в подарок свояченице ювелира, хорошенькой вдовушке Анхен. Вдовушка сия скрашивала мое уединение обыкновенным для дам ее возраста способом. Когда наступала ночь, она бесшумно перебегала двор и поднималась ко мне, на рассвете же уходила. В такие экспедиции она пускалась не чаще двух раз в неделю, потому что была очень рассудительна и осторожна. Анхен хотела выйти замуж, но не за русского офицера, православного и дворянина, брак с которым невозможен, а за немецкого мещанина, человека своей веры. Поэтому проказы свои она тщательно скрывала. Я же, повторяю, пребывал в некой дремоте души. В Риге я не знал ни одной девицы, способной пробудить во мне истинное чувство, и решил положиться в сем вопросе на волю Божию – когда настанет час, суженая моя явится сама, и все решится моментально.

Анхен все не шла, и я забеспокоился было, но, выглянув в окно, увидел, что у ювелира горит свет. Возможно, кто-то из домочадцев заболел, верней всего, что маленькие дети. Анхен неизменно помогала за ними ухаживать.

Она пришла незадолго до полуночи, взволнованная и заплаканная, от объятий моих увернулась, села на самый краешек постели и рассказала, что в доме беда – племянница ювелира, что жила в семье, найдена убитой.

Я знал эту ювелирову племянницу, пухленькую и розовощекую, неизменно веселую и опрятную, истинное сокровище даже для почтенного полноправного немецкого бюргера, не говоря уж о простом обывателе-айнвонере. Лет ей было чуть поболее двадцати, и мы, встречаясь на улице, всегда обменивались улыбками, я делал небольшой поклон, она – обязательный для немки книксен.

– Как же это могло случиться с бедной Катринхен? – спросил я с искренним волнением.

– Ах, милый Сани, это уму непостижимо – ее закололи кинжалом...

– То есть как это – кинжалом? – Такая смерть показалась мне совершенно неподходящей для мещанской девицы, она скорей приличествовала трагической героине из пьесы господина Сумарокова или того же Шиллера. – Не путаешь ли ты, душенька, кинжал с обычным ножом?

– Я не знаю... Полицейский чиновник герр Вейде сказал, что кинжалом, – смущенно ответила она. – Откуда мне в этом разбираться? Но, милый Сани, я хочу с тобой посоветоваться. Мне кажется, я знаю, кто убил нашу Катринхен.

Я был польщен, что Анхен в таком серьезном деле предпочла меня более опытному по житейской части ювелиру.

– И кто же это? – напрямую спросил я.

– Я скажу – но дай слово, что ты не станешь смеяться над бедной девушкой и плохо о ней говорить.

– Клянусь честью, – тут же отвечал я.

Казалось бы, имея такое обещание, можно сразу же назвать злополучное имя. Но нет – Анхен плакала, успокаивалась, порывалась убежать и тут же возвращалась. Наконец она призналась: девушку, возможно, заколол ее любовник.

– Как такое может быть? – спросил я, немало удивленный. “Ты хочешь сказать – поклонник?”

По здешним нравам, у девицы из хорошей семьи не могло быть любовника – иначе ей было место в Ластадии, предместье, где селились зимующие в Риге моряки и, разумеется, убажжающие их жрицы любви.

– Нет, он всего от бедной Катринхен добился... Если люди узнают, это будет стыд и позор для всей семьи! У нас еще две девицы на выданье, кто же их возьмет после такого скандала?

Ювелирово семейство действительно изобиловало невестами. Сам герр Штейнфельд имел двух дочек-подростков, четырнадцати и пятнадцати лет, при них состояла его незамужняя сестрица Эмилия – возрастом около тридцати, а то и более, но у нее уже завязалось «кое-что», как сказала Анхен, со вдовым пивоваром, и главное для нее было – не спугнуть хорошего жениха. Если не считать покойной Катринхен, в семье жили Анхен, сводная сестра жены ювелировой, и Доротея – дальняя родственница, тоже не первой молодости, но вполне способная выйти замуж и нарожать детей.

– Откуда же ты знаешь, что он всего добился?

– Она мне рассказала, когда я застала их вместе на Ратушной площади, где они стоварились. Она сама не своя сделалась, только о нем и думала. Мне кажется, она даже рада была, что я все узнала, – теперь она могла говорить со мной о своем красавчике. Он ведь был хорошенький, как куколка...

– Но зачем же такие страсти, если этот красавчик мог посвататься и жениться?

– Посвататься он мог... – тут Анхен вздохнула. – Фридрих никогда бы не отдал Катринхен за поляка. Он очень не любит католиков.

– Стало быть, они встречались тайно?

– Да, Сани...

Я не любил, когда она меня так называла, но сам был виноват – здешние немцы не знают русского языка, и Анхен в самом начале нашей нежной дружбы спросила, как ей называть меня ласкательно по-русски. Меня же дернул черт рассказать, что матушка звала меня Саней, Санюшкой, в отличие от жившей в нашем доме старшей кузины Александры – та у нас была Сашетт. Анхен поняла так, что воспоминание о матушке должно быть мне приятно во всякую минуту жизни моей, даже самую страстную, и, слегка переделав имя, постоянно употребляла его, когда мы были наедине.

– Почему же ты решила, что девушку убил непременно этот поляк?

– Ах, Сани... Наверно, мне следовало сразу рассказать обо всем Фридриху, и Катринхен осталась бы жива... Я никогда не прошу себе этого... – бормотала Анхен. – Фридрих отослал бы ее из Риги, он бы что-нибудь придумал, но не допустил, чтобы дочь его любимой сестры, умершей родами...

Тут Анхен, невзирая на скорбное свое настроение, подробно изобразила мне ювелирово родословное древо. Я не возражал – рассказывая, она успокаивалась, а я за два года нашей дружбы довольно к ней привязался, чтобы отнестись с пониманием. И потому кое-что в рассказе пропустил мимо ушей. Тем более что я приготовил ей угощение – крендель и чарочку ее любимого алаша. Алашем, или же более значительно, алаш-кюммелем, в Риге называли сладенький тминный ликер, любимое лакомство здешних кумушек, и герр Штейнфельд даже рассказывал мне, в каком лифляндском поместье нарочно для этой надобности выращивают отборный тмин.

Наконец выяснилось – убитую девушку днем нашли под самой крышей торгового склада. Я всегда удивлялся названиям здешних каменных амбаров: склад Голубя, склад Верблюда, склад Слона. У нас бы их именовали по прозванию хозяина, но тут полагали, что хозяин может за год смениться хоть трижды, хоть четырежды, а каменные хоромы никуда не побегут – останутся на месте и потому должны иметь постоянное имя. Оно подтверждалось раскрашенным резным портретом животного или иным знаком над воротами склада.

Роковым местом оказался склад Голубя – по рижским понятиям далековато от Малярной улицы, но город сей, вернее, собственно Рижская крепость, был невелик. Его легко можно было пересечь быстрым шагом из конца в конец, от Карлова бастиона до Цитадели, за четверть часа, коли не меньше, и горожане мерили расстояния по-своему.

– А они при мне поминали этот склад, – горестно сказала Анхен. – Вот теперь никто и не понимает, как Катринхен там оказалась. Ведь ясно же, что ее не затащили насильно – платье ее цело... и криков никто не слышал...

– Так надо же строжайше допросить хозяина и работников! – воскликнул я. – Выяснить, кто имел ключи от склада, всех перебрать!..

– Сегодня и хозяина, и работников расспрашивали. Но знаешь ли, что оказалось? Ночью склад был открыт. Со вчерашнего дня туда сгружали мешки с продовольствием, с крупами.

Я покивал – это звучало правдоподобно. Город готовился к войне. Собственно говоря, он уже года два к ней готовился, с того дня, как наш инженер-генерал-майор Опперман получил предписание подготовить план укреплений Риги. Война с Бонапартом стояла у порога – и тем печальнее казались рижские бастионы, построенные более полувека назад. Те, что обращены были в сторону Санкт-Петербурга, не имели особого значения – неприятеля мы ждали совсем с иной стороны. А те, что глядели на юг и на запад, повреждены были от наводнений, особенно валы Цитадели.

Опперман все распланировал разумно – как выяснилось впоследствии, он правильно оценил необходимость во флоте, без коего оборона Риги ненадолго бы затянулась.

Сейчас куртины, бастионы и рavelины укрепили, на что пришлось употребить секвестированный лес, купленный несколько лет назад нашими вратами-англичанами и хранившийся на рижских складах. Гарнизон наш пополнялся, в случае войны следовало ждать беженцев из Курляндии, и купцы в больших количествах запасали провиант.

– Выходит, минувшей ночью Катринхен ушла на свидание и была убита на верхнем ярусе склада? – уточнил я.

– Да, там под самой крышей есть каморка...

Тут надобно объяснить устройство этих самых птичьих и звериных зданий. Они все имеют высоченные черепичные крыши, и у каждого яруса есть выходящая во двор дверь. Выходящая, но не ведущая – потому что лестница при ней не состоит. Эти двери расположены в торце здания, одна над другой, а возле самой крыши устроена лебедка, чтобы поднимать груз на нужную высоту, где его принимают и относят в глубину помещения работники. Когда поздно вечером, уже при фонарях или факелах, идет работа, действительно можно легко проскользнуть в склад и по внутренней лестнице забраться наверх. А если даже девица и кричала – то за общим шумом ее могли не услышать.

– Темное дело, – произнес я. – Может быть, ты все же расскажешь полицейским про этого поляка?

– Нет, Фридрих никогда мне этого не простит, он выгонит меня... А ты же знаешь, он держит меня из милости, вместо няньки для детишек, и каждый раз, как выпьет, кричит на меня и требует, чтобы я поскорее выходила замуж... Что же будет, когда я опозорю семью?

– Катринхен ее и без тебя довольно опозорила.

– Но об этом никто не знает!

– А как по-твоему, что могут предположить полицейские, найдя под крышей склада, в укромной каморке, тело красивой девушки без всяких следов борьбы? – спросил я. – Только то, что ее зазвал туда любовник.

– Но доказать этого они не могут!

– Какая же еще может быть причина?

– Не знаю! Ее могли убить на улице и принести туда...

– и втащить на самый верх? Очевидно, этот убийца днем трудится силачом в балагане и знаменит любовью к тасканию тяжестей!

Мы едва не поссорились. О нежной страсти уже и речи не было. Анхен еще немножко поплакала, я отдал ей моток кружев и проводил вниз. На прощание она все же поцеловала меня в щеку, поплотнее завернулась в шаль и ушла. Я же поглядел, как она впотьмах, безошибочно

зная дорогу, перебегают через двор, и вернулся к себе в смутном состоянии души – мне было жаль соседку, мне было жаль и Анхен. Только вот рыдать я не мог – не мужское это дело, хотя в романах кавалеры и проливают слезы. Но я, едва не отправившись на тот свет по стопам «бедного Вертера», уже не имел к романам особого доверия. Они мне даже сделались неприятны – я ни слышать, ни читать про чью-то любовь уже не мог.

По какой же причине безымянный поляк додумался заколоть любовницу свою, совершенно безобидную, смешливую и ласковую девицу? Вряд ли она упрашивала его жениться – она знала, что дядя ее за католика не отдаст. Или же упрашивала – да еще умоляла увезти ее из Риги туда, где их не поймают? Мало ли кого о чем просит любовница – это еще не повод доставать кинжал...

Вдруг меня осенило. Племянница ювелира могла знать нечто важное о его тайных сделках. Ничего удивительного в том, что хитрый поляк сделал Катринхен своей любовницей единственно с целью вызнать ювелировы тайны, не было – а потом, раздобыв нужные сведения и боясь разоблачения, он преспокойно заколол девушку и смылся...

Коли так, ювелир тем более не пожелает, чтобы в его делишках кто-то копался. Он достойно похоронит покойницу – тем все и завершится. Возможно, он сам уже сообразил, кто мог бы оказаться убийцей, и предпринимает свои шаги.

Так я успокаивал себя в ту ночь, не ведая, что смерть Катринхен станет однажды ключом к разгадке важнейшей тайны.

На следующий день работы в портовой канцелярии у меня было мало, я пошел прогуляться, имея цель совершенно невинную – посмотреть на склад Голубя. К сожалению, человеческое любопытство тянет именно в те места, где случилась беда и пролилась кровь. Я не собирался искать там следов преступника – просто неведомо, зачем хотел видеть это место.

Амбар стоял за реформатской церковью на узкой улочке, причем торцом именно к улице. В первый этаж вели огромные дубовые ворота, над ними, одна над другой, были двери четырех ярусов. Над ними на высоте пятого яруса нависала лебедка, лепившаяся к стене под крышей. Сам пятый ярус был, видимо, невысоким чердаком, к которому и принадлежала каморка, где убили ювелирову племянницу. Каменный медальон над огромными воротами изображал сидевшего на ветке голубя. Голубь имел довольно хищный вид, как если бы готовился клювом и когтями оборонять амбар.

Вся эта улица занята была такого рода строениями, всюду кипела бурная и шумная деятельность, так что крик девушки вряд ли привлек бы внимание.

– Любопытствуете насчет товара, ваша милость? – услышал я по-русски и повернулся к неожиданному собеседнику.

Это оказался знакомец мой, купеческий сынок Яков Ларионов, плечистый и красивый детина. Познакомились мы презанятно – в здешнем Гостином дворе, куда я забрел из любопытства, он схватил за шиворот воришку, норовившего лишить меня кошелька. Тогда я уже начал понимать, что Рига – отнюдь не такова, какой прикидывается пред доверчивым путешественником.

Разглядывая из окошка своей комнаты, черепичные крыши и шпили готических церквей, которые восхищали меня, равно как и узкие улицы, и дома старинной архитектуры, я полагал, что поселился в городе Совершенно немецком. Я вообразил было, будто перенесся в Средние века, и если б тогда же уехал в Санкт-Петербург, рассказывал бы в светских гостиных сказки о рижском неувядаемом Средневековье.

Но когда я стал делать прогулки по городу, то обнаружил, что в нем звучит не только немецкая, но и польская речь, а на вывесках кроме немецких, есть буквы, знакомые мне по давним попыткам изучения древнееврейского языка.

Полагал я также, что русскую речь услышу здесь, главным образом в Цитадели – крепости, пристроенной к Риге с севера еще при шведах и служившей для нужд гарнизона, ибо

сам город был мал и тесен и казармы в нем строить негде. И оказался кругом неправ – среди офицеров было множество природных немцев, говоривших по-русски так, что не всегда я мог разобрать их рацеи. Но, к большому моему удивлению, обнаружил я в Риге место, где сочинитель Карамзин, буде бы он собрался написать еще одну повесть о похождениях боярской дочери, набрал бы немало старинных русских словечек. Это было Московское предместье или, как тут говорили, Московский форштадт.

Как именно вышло, что там поселились русские купцы-староверы, я не знаю. Беседуя с ними, я не совсем понял, когда шведский король, которому Рига принадлежала до того, как в тысяча семьсот десятом году от Рождества Христова ее взял государь император Петр Великий, позволил им тут селиться. По словам купцов выходило, что прадеды их жили тут чуть ли не спокон веку. Но рижские бюргеры все же считали их чужаками, не позволяли селиться в городских стенах и не принимали в гильдии. Были и притеснения по торговой части.

Они же обосновались в Московском форштадте, а поскольку им сперва запретили торговать и держать свои товары в городе, то они выстроили знатный Гостиный двор, деревянный, но весьма просторный. Русские купцы держали всю торговлю лесом, льном и зерном – то есть товаром, что шел на плотях и стругах из России. Среди них было немало и трактирщиков, и владельцев бань. Самые известные и богатые огородники тоже оказались из русских.

Позднее государыня Екатерина, узнав про их положение, указом своим открыла путь ихним товарам в город. Постепенно вышло так, что купцы стали и полноправными гражданами Риги, но, будучи староверами, держались своих собратьев и жили вместе с ними. Это было разумно – равноправия хватило ненадолго. Но амбары свои они сохранили.

Так что в городских стенах преимущественно звучала речь немецкая, польская, иудейская, а также иногда латышская. Как во всяком месте, где происходит такое сожительство языков, они принялись меняться словами, так что с непривычки разобрать бойкую речь уличного торговца бывало затруднительно. Хотя немецкий язык был мне знаком – не изучая его особо, я наловчился в свое время беседовать с живущими в Санкт-Петербурге хорошенькими немочками. Наняв себе учителя, я вскоре выучился и писать. Не поручусь за блестящую грамотность и хороший слог, но писания мои и речь здешние немцы превосходно понимали.

Разумеется, турецкий язык на службе моей был совершенно бесполезен, но с английским приходилось иметь дело. Кроме того, мне показался любопытным язык местных жителей, которых многие мои товарищи-офицеры называли чухонцами, а староверы – латышами. Я обнаружил в нем немало переделанных на местный манер русских слов.

Но вернемся к купеческому сынку Якову Ларионову. Ему страх как любопытно стало, что я, состоя при канцелярии военного командира порта, могу высматривать среди амбаров. Расспросы его были шутивы, но сквозила в них и легкая тревога – вряд ли найдется где купец, чья совесть ангельски чиста перед законом. Протрудившись в порту с осени 1809 года, то есть более двух лет, я уже наслышался про их проказы.

Ларионов же впридачу к суетливости своей обладал тонким и пронзительным голосом. Чтобы зазывать народ в лавку, оно, может, и неплохо, но когда сей голос, перекрикивая уличный шум, врывается тебе в ухо, то чудится, будто он производит в голове разрушения почище пушечного ядра.

Кое-как отделившись от купеческого сынка, я прогулялся туда и обратно, задрал голову и размышляя – должен ли там, наверху, находиться человек, который заведует лебедкой, или довольно того, что снизу тянут за веревки. Но место это для прогулок было совсем неподходящим – тут едва ли не вплотную стояли склады, а поскольку разгрузка велась прямо на улице, то подъехавшая фура вынудила меня уйти подальше.

Вечер был хорош, и я вздумал пройтись, чтобы нагулять себе аппетит к ужину. В Риге тогда не имелось достойного променада – поневоле вспомнишь добрым словом Невский проспект и Летний сад. Променадом считалась Яковлевская площадь неподалеку от Рижского

замка, но уж больно много народу там теснилось, она скорее напоминала ярмарку в воскресный день. Слоняться по набережной, спотыкаясь о всякую дрянь, оставшуюся от разгрузки судов, я не желал. К тому же из-за меня там царил шум хуже, чем на рынке. Их столики в несколько рядов стояли у плавучего моста, а вокруг толпился народ и порой слышался такой визг, что хоть уши затыкай. Тут меняли российские деньги на иностранные – главным образом наши ассигнации на прусскую и голландскую монету, а пока по милости Бонапартовой не пришлось нам поссориться с англичанами – и на английскую.

Особого выбора не было – я отправился на бастионы, Банный и Блинный.

Уразумев, что с севера и востока нападение более не грозит, рижские обыватели тут же нашли бастионам употребление – понастроили сараев и прочих хибар, а некоторые и домашнюю птицу развели, в городском рву вокруг одетых камнем равелинов плавали утки, ныряя и весело трепыхая крылышками. Противоположная сторона десятисаженного рва зеленела свежей от близости воды травкой, а за контрэскарпами и гласисом я мог сверху видеть, прогуливаясь, сперва сады и огороды, принадлежащие жителям Петербургского предместья, а затем и сами деревянные одноэтажные дома. Во рву отражалось синее, уже почти летнее небо, утки, торопливо проплывая, оставляли за собой веера водных струй, а мемеканье пасущейся на бастионе козы добавляло пасторального благодушия в сей фортификационный пейзаж.

Хотя два года назад Опперман ругался с магистратом из-за сараев и хибар на бастионах и неоднократно требовал их снести, но все уперлось в святыню рижских бюргеров – частную собственность, и от сей нелепой архитектуры город поныне до конца не избавился. Да это что – оказалось, что и широкая полоса земли по ту сторону рва, меж контрэскарпами и гласисом, тоже принадлежит кому-то из горожан, а как сие получилось – понять было уже невозможно.

Напротив бастионов, на эспланаде, унтер-офицеры обучали новобранцев, и до меня доносились их неразборчивые голоса. Команды отдавались по-немецки, и это было еще одной бедой. Мало того, что гарнизон все еще невелик, хоть и усилен множеством неопытных рекрутов, так еще и офицеров недостает, и русского языка офицеры наши почти не знают, а солдаты немецкому еще не обучены. А для защиты задвинских укреплений, которые сейчас возводились, нужны были опытные солдаты.

У меня имелось с собой чтение – старый выпуск журнала «Московский зритель», найденный мною в канцелярии. Сев на какой-то перевернутый ящик, я лениво просматривал строки, не вникая в их смысл, пока не вспомнил, что в мае месяце темнеет поздно и я рискую пропустить время ужина. Благо от бастиона до Малярной улицы было очень близко – на ужин я успел и двойную порцию сладких блинчиков с вареньем получил.

Через два дня Анхен снова навестила меня. Она всей душой желала примирения, я также, и потому меж нас не было промолвлено ни слова о загадочном совратителе-убийце. Только недели две спустя, вновь принявшись оплакивать родственницу и подругу, Анхен обмолвилась о поляке:

– Этот проклятый Жилинский...

– Я полагаю, герр Штейнфельд так этого дела не оставит, – сказал я. – Может статься, он сообразил, в чем дело, и, не желая привлекать лишнего внимания полицейских, сыщет Жилинского сам, да сам же и покарат.

– Сыскать его нелегко, – отвечала Анхен. – Коли бы он был из рижских жителей, Фридрих бы добрался до него в два счета, довольно было бы обратиться к менялам, с самыми личными из которых Фридрих приятельствует.

Эти менялы знали всех, и их все знали. Дураком следовало быть, чтобы усомниться в их связях с преступным миром.

– Но откуда Фридрих мог бы узнать про Жилинского? – спросила далее простодушная Анхен. – Катринхен так хорошо и долго все скрывала...

– Если узнала ты, то могла узнать Эмилия или Доротея, – возразил я. – И шепнуть потихоньку герру Штейнфельду. Сдается мне, что он догадывается, почему убили его племянницу, он ведь человек ловкий и хитрый...

– К тому же проклятый Жилинский бывает в Риге наездами. В последний раз он появлялся тут зимой, это я знаю точно. Потом Катринхен ждала его ближе к лету, – добавила Анхен.

– Не поведала ли она тебе, откуда он родом?

– Он приезжал в Ригу из Митавы, но живет он там или также бывает случайно – я не знаю.

– И она не знала?

– Ах, Сани, ну разве девушка станет расспрашивать любовника о делах его?

Я только вздохнул – уж лучше бы девушки имели более практический склад ума. И невольно вспомнил романтическую Натали, которая клялась в любви небогатому офицеру, уходящему в длительное и опасное плавание, а в мужа себе избрала светского и чиновного старца, владельца многих имений.

Но тут же мной овладело сомнение – Натали была светская барышня, полагавшая, будто булки растут на кустах, но Катринхен воспитывалась в той среде, где не знать цен на зерно и новостей с биржи постыдно. Странно, однако, что она, даже пылко влюбившись, не догадалась ничего разведать о любовнике своем.

Я стал размышлять об этом, и занятная мысль родилась у меня. Возможно, хитрый поляк, обхаживая девушку, имел в виду склонить ее к побегу, но с условием, что она прихватит с собой немалую часть сокровищ Штейнфельда. Поэтому Катринхен и не рассказывала Анхен о любовнике слишком много. Потом же между ними возникла ссора, и пылкий поляк схватился за кинжал... позвольте, а какого черта он вообще носил с собой кинжал?.. Стало быть, он готовился к убийству?

Может, она уже успела передать ему какие-то деньги и драгоценные вещицы? И он, решив, что этого довольно, убил девушку и скрылся? Тогда становится понятно, почему при нем той ночью, когда он заманил Катринхен в амбар, был кинжал или нож, или чем он там нанес смертельный удар.

Я не полицейский, не сыщик, и отродясь не доводилось мне ловить убийц, тем более умозрительно. Однако жизнь моя в Риге была скучновата, и я невольно обрадовался событию, которое дало пищу для ума, да простит меня за это Бог.

И вот что еще я смог вывести из таких предпосылок: красавчик-любовник, возможно, хотел ограбить Штейнфельда и домогался помощи любовницы, она же, испугавшись, грозилась на своего избранника донести. Очевидно, ювелир был предупрежден, что готовится ограбление, и потому не стал говорить полицейским слишком много, чтобы не спугнуть воров и поставить на них ловушку.

Эта история занимала меня несколько дней...

Глава вторая

Война с Францией, которую столь долго ждали, началась через месяц. Войско Бонапартово форсировало Неман, а в конце июня стало доподлинно известно, что одна из колонн его движется к Митаве, чтобы, взяв город, направиться к Риге. Это был так называемый десятый корпус маршала Макдональда, в состав коего входили седьмая французская дивизия барона Гранжана, состоявшая преимущественно из поляков, баварцев и вестфальцев, а также двадцать седьмая прусская дивизия во главе с одряхлевшим генералом Гравертом.

Вице-адмирал Шешуков этим известием сильно обеспокоился.

– Война – как зима, – сказал он мне, когда я принес ему переведенные с немецкого бумаги. – Казалось бы, каждому дурачку на церковной паперти ведомо, что в ноябре выпадет снег. И у всякого здравомыслящего человека должны быть наготове шуба, шапка и теплые сапоги. Ан нет! Люди таращатся на первый снег, как если бы с неба упали живые лягушки, кричат «ахти, батюшки мои, зима!» и спешат в меховые лавки, потому что шубы поедены молю. Вот, гляди...

Он подвел меня к окну, выходившему на причалы. Я увидел разномастные пришвартованные суда и расхаживавших с гордым видом представителей всех родов войск российских. Это были отставные военные, которые, как стало известно о начале войны, достали из сундуков свои старые мундиры и пошли служить в роту охраны порта. Разве что кивера на всех были одинаковые – с бляхой, на которой можно было разобрать рижский герб.

– Еще когда господин Барклай изволил нас инспектировать весной, было говорено, что коли по плану Оппермана для обороны Риги надобны канонерские лодки, то самое время ими озаботиться. У нас – считай! – всего шесть, нужно хотя бы вчетверо больше.

– Опперман рассчитал, что хватит двенадцати, – напомнил я.

– Что он смыслит во флоте?! Ну, положим, решение о том, что строить их на месте незачем, было верным. У нас тут и строить их некому, и сажать на них некого. Но за это время их вполне можно было привести из Роченсальма, чтобы они уже стояли тут в полной готовности. Зима, черт бы ее побрал! Треклятые немцы дождутся, пока на том берегу явятся вражеские батареи, и тогда лишь примутся ахать: ах, ужас, ахти, война! Фон Эссен спятил, коли полагает, будто город готов к обороне. Боеприпасы и амуницию завезли, на долгую осаду хватит, а новобранцы не обучены и с сараями до сих пор чертовня какая-то!

Те хибары, что украшали бастионы, наконец-то снесли, но у магистрата явилась новая головная боль – строения в предместьях. Многие следовало убрать, ибо под их прикрытием противник мог добраться до самых валов Рижской крепости и Цитадели. Но всякая собачья конура кому-то да принадлежит. Надо было установить хозяина, произвести оценку постройки, и лишь потом снести ее с лица земли. Как и следовало ожидать, у многих зданий формально не нашлось хозяев – так что и разрушить их не могли. Такого в Риге, где властвовал немецкий порядок, быть не могло – однако ж было!

Николай Иванович еще долго ворчал на фон Эссена, хотя прекрасно знал – тот сменил на комендантском посту князя Лобанова-Ростовского всего лишь в конце апреля, когда даже не было толком известно, с кем мы имеем дело, и «Примерный журнал осады Риги», присланный нам Барклаем, составлялся на том основании, что Бонапарт, напав на нас, обойдется без помощи прусской армии. А он не обошелся – и генерал Граверт с маршалом Макдональдом уже двигался к Митаве. От Митавы же до Риги рукой подать – даже с обозами не более трех дневных переходов. А известно, что Бонапарт не больно любит обременять войско обозами. Он убежден, что армия на марше сама себя как-нибудь прокормит.

– Хорошо хоть, Левиз вернулся в строй, – сказал наконец он, произнося эту фамилию на французский лад, с ударением на последнем слоге. – На него вся надежда. Вон, даже поставили командовать отдельным отрядом. Эх, кабы не стоял над ним фон Эссен... Ну, ступай.

Я покинул кабинет, Шешуков же остался у окна, с тоской глядя на опустевший порт. Он сделал все, что мог, все мелкие лодчонки привел в боевую готовность. Он был опытным командиром, наш добрый Николай Иванович, он командовал фрегатом «Слава» в бою со шведами у Гогланда, командовал «Болеславом», обороняя Поркалауд, за что получил «Георгия», а золотую шпагу – за Ревельское и Выборгское сражения. Он и Роченсальм сумел от шведов отстоять, будучи его командиром, пока мы маялись в Лиссабоне. Он умел командовать флотилиями, но сейчас оказался почти безоружен.

Эти лодчонки и шесть средних канонерских лодок составляли все наши военно-морские силы. Эскадра Сенявина сгнила на Портсмутском рейде, немногие корабли и фрегаты, назначенные для возможной обороны столицы, стояли в Кронштадте, а шхерный флот – в Роченсальме. Эскадра же адмирала Тета, в которую входило восемь линейных кораблей, отправлена была в Северное море, где вместе с нынешними нашими союзниками-англичанами блокировала французское побережье.

Война начиналась для нас, моряков, крайне бестолково.

Да, я все еще считал себя моряком. Очевидно, я еще не получил довольно неприятностей, мне мало было лиссабонского и портсмутского сидения, я недостаточно повредил себе здоровье за четыре года пребывания в составе сенявинской эскадры. Мне, как мальчишке, еще мерещился далекий и неприступный Роченсальм с гаванями, полными военных кораблей. Мне снились товарищи мои, с которыми плавал я в Эгейском море, я тосковал по Артамону и Алеше Суркову, по другим молодым офицерам, с которыми подружился, и болезненно ощущал свое одиночество. Тогда при любых обстоятельствах мы составляли братство. Теперь же я остался один – словно спасся при кораблекрушении, погубившем всех моих товарищей.

Я был самым нелепым созданием в свете – сухопутным моряком. И прекрасно сие осознавал!

Сухопутным моряком стал сейчас и вице-адмирал Шешуков – но Николаю Ивановичу было под шестьдесят, в такие годы как раз и следует осесть на берегу и исполнять такой долг перед Отечеством, который не мешает врачевать былые раны и старческие недомогания. Я же был слишком молод – мне исполнилось двадцать четыре года. И здоровье мое в Риге поправилось, чего, кстати говоря, не произошло бы в Санкт-Петербурге, рижский климат оказался куда более здоровым. К тому же доктор посылал меня на воды в Бальдон, езды туда от Риги часов восемь, и если бы не жалкие домишки, где приходилось ютиться нам, хворым, сей курорт мог бы прогреметь на всю Европу. Я вставал в шесть часов утра, шел пить воду и брать ванны, после чего сытно завтракал – эти целебные воды пробуждали во мне неслыханный аппетит. Незменных карточных игр и всеми обожаемого бостона я избегал – охотнее уединялся с книжкой, немецкой или французской, в какой-либо беседке и набивал себе голову знаниями вплоть до вечернего купания.

Сейчас многое из этого я использовал для важного дела. Шешуков неспроста отпустил меня пораньше – о моих талантах толмача уже знали в Рижском замке, и еще Лобанов, будучи военным губернатором Риги, распорядился давать мне для перевода на немецкий новейшие труды наших знатоков военного дела, чтобы офицеры-немцы, плохо знающие русский язык, имели возможность с ними ознакомиться. Сейчас я возился с «Правилами для артиллерии в полевом сражении» графа Кутайсова, только что полученными из столицы.

По пути домой мне было не миновать Рижского замка. Когда проходил я по замковой площади, меня окликнули из отряда всадников, что собрался у ворот. Я повернулся, один из офицеров сделал мне знак, и я подошел поближе, к самой будке часового.

– Вот тот самый Морозов, Федор Федорович, – сказал офицер, представляя меня командиру своему. – На ловца и зверь бежит!

Я поглядел в лицо командиру, представительному мужчине лет сорока пяти, со строгим лицом и выдающимся подбородком, изобличавшим недюжинное упрямство, и узнал генерал-лейтенанта с диковинной для здешних мест фамилией – Левиз-оф-Менар. Наши офицеры произносили ее, как Шешуков, с ударением на последние слоги, считая, очевидно, французской. Но я, изучая английский язык и беседуя с английскими офицерами, знал, что так могут звать шотландца. Федор Федорович и был, как я потом узнал, из дворянского рода, что переселился в Лифляндию еще при шведах, а его родовые владения находились где-то под Вольмаром.

О нем ходили диковинные истории. Этот офицер в двадцать четыре года награжден был золотой шпагой «За храбрость». Сказывали, в кампанию 1806 года он накануне битвы подцепил горячку. Его сильно лихорадило, а предстояло сражение; Федор Федорович приказал привязать себя к лошади, чтобы во время боя не свалиться без памяти под копыта, и уцелел. Также он то ли три, то ли четыре раза уходил в отставку, причем по болезни, и вновь возвращался в строй.

– Я слышал о ваших способностях, Морозов, и собирался уж посылать за вами, – сказал, глядя на меня сверху, генерал-лейтенант. – Зайдите ко мне в канцелярию, там оставлен на имя ваше пакет. В нем «Наставление господам пехотным офицерам в день сражения», перевести на немецкий надобно срочно. Мой отряд готовится выступить навстречу противнику, и я желал бы снабдить своих людей сим сочинением господина Барклая де Толли. Я читал – оно весьма разумно. Едем, господа.

Он говорил по-русски с забавным произношением, однако ж четко и уверенно. И я был ему за это премного благодарен – а вот пришли к нам служить прусские офицеры, недовольные вынужденным союзом своего короля с Бонапартом, так те и вовсе по-русски ни слова не понимали.

Я вошел в Северный двор, поднялся в канцелярию и получил пакет. Офицеры, мои ровесники, которых я встретил в Рижском замке, были заняты лишь одним – расположением и маневрами армии нашей, причем казалось, дай им волю, и все невыгодные позиции обратятся тут же в выгодные, отступление прекратится, и Бонапарт будет сметен с лица земли. Они и меня хотели втянуть в свои прожекты и дивились моей меланхолии. Я-то уже познал, что есть поражение, причем поражение незаслуженное! Сениявин и все мы одержали множество побед для России – а что из этого вышло?

Тогда, в 1805 году, Россия, Англия, Австрия и королевство Неаполитанское заключили союз против Франции и обязательства свои исполняли. Мы защищали Ионические острова, нашу базу в Средиземном море, и препятствовали захвату Греции Бонапартом. Для меня это была жизнь привольная и радостная. В тамошнем климате здоровье мое поправилось, я свел знакомство со многими черногорцами, сторонниками нашими, и прилежно учил их язык.

Примерно через год Турция, подстрекаемая Бонапартом, объявила войну России. Сениявину было велено, по нашему разумению, избыточно много: блокировать Египет, защищать Корфу, препятствовать сообщению французов с турками, занять главные пункты в Греческом архипелаге, в том числе Родос и Митилену, готовить суда к приему и высадке пехоты, а наипаче всего – стараться захватить Константинополь, он же Истанбул. Коли пытаться все сие осуществить разом, это был бы вернейший путь к гибели нашей. Разрозненные отряды и суда эскадры перебили бы поодиночке.

Беда, говорят, не ходит одна. В столице забыли, что британцы, даже заключив союз, любят загребать жар чужими руками. Адмирал Дукворт не пожелал соединиться с Сениявиным и попытался захватить Константинополь ранее нас. Его эскадра как-то проскочила Дарданеллы и внезапно явилась у стен турецкой столицы. Начались переговоры, и хитрые турки

столь успешно затянули их, что выиграли время и усилили свои укрепления в проливе. Дукворт ретировался с позором, неся значительные потери. А мы, подойдя к Дарданеллам, обнаружили, что прорваться не сможем, и поняли, что взятие Константинополя откладывается до морковкина заговенья. Дукворт, коему вновь было предложено объединиться, отказался и весной ушел к Мальте.

Сенявин решил блокировать Дарданеллы. Для устройства базы мы взяли остров Тенедос и бывшую на нем крепость. Задачей нашей было не пропускать никого через пролив и по мере сил уничтожать турецкий флот. Долго это продолжаться не могло – на нас вышла большая турецкая эскадра. Как оказалось позднее, в экипажах были французские офицеры. С ней мы управились молодецки, три корабля подбили, остальные бежали назад. Из тех трех один все же улизнул, а два выбросились на берег. Я в сражении у Дарданелл, а позднее и в сражении у Афона находился на флагманском корабле «Твердый» под контр-адмиральским флагом. Командиром был капитан Малеев. Дядюшка мой Артамон был на «Урииле» под командованием Бычевского, а третий наш родственник Алексей Сурков служил на «Ретвизане».

Славные наши победы известны всем, кто сохранил хоть несколько памяти. Конец им положил позорный для России Тильзитский мир с Бонапартом. Контр-адмирал наш получил предписание прекратить военные действия и немедленно передать Ионические и Далматинские острова и провинцию Каттаро Франции, а Тенедос – Турции и возвращаться в Россию. Кроме того, ему сообщили о возможности войны с бывшей союзницей нашей Англией и приказали избегать встреч с ее флотом.

Мы были молоды и горячи, сведения из России имели самые невразумительные. Мысль о том, что победы наши оказались напрасны, была нестерпима. Мы мучительно пытались понять, где корень бед, отчего треклятый Бонапарт сумел навязать государю нашему такую блажь, как отказ от всех завоеваний в Средиземном море. Вся беда в том, что мы-то честно исполняли свой долг и видели необходимость отыскать того внутреннего врага, который исполнить долг перед Отечеством не пожелал.

Мы рвались в бой, а нас силком возвращали домой, изгоняли из Средиземного моря не как победителей, а как побежденных, англичане же, натворившие столько бед, теперь торжествовали, видя покорность нашу.

В октябре мы пришли в Лиссабон, предполагали починить там потрепанные суда, но остались чуть ли не на год. Город вскоре был занят французами, а английская эскадра, подоспев, блокировала его с моря. Так мы оказались меж двух огней. Честь и хвала контр-адмиралу нашему – он, как и мы, не принял в душе мира с Бонапартом, он предвидел, сколько бед принесет России корсиканец, и желал сохранить для трудных времен свою эскадру. Тут я умолкаю и не скажу дурного слова о покойном государе, хотя указ Сенявину об исполнении всех предписаний, которые от его величества императора Наполеона посылаемы будут, подписан был его рукой.

Мы сидели взаперти, как нашкодивший кот в чулане, пока англичане не вошли в Лиссабон. Они понимали, что без боя мы не сдадимся, а бой будет жестоким. Их адмиралу Коттону пришлось подписать с нашим контр-адмиралом особую конвенцию – по ее условиям мы должны были в целостности и сохранности плыть в Англию и там пребывать до заключения мира меж Англией и Россией после чего нам, победителям турок, дозволено будет англичанами, позорно от тех турок бежавшим, наконец вернуться домой.

За месяц мы добрались до Портсмутского рейда и встали там на мертвый якорь. Замирением не пахло. Наконец чуть не год спустя дипломаты добились того, чтобы экипажи всех судов транспортами доставили в Ригу. Суда наши остались гнить в Портсмуте.

И мог ли я объяснить молодым офицерам, что щеголяли в новеньких мундирах и сверкали орлиными взорами, каково мне теперь – мне, познавшему горький вкус поражения и предвидящему новые бедствия?

С пакетом в руках я отправился домой, теперь у меня не было вопросов, как провести вечер. В канцелярии я запасаюсь бумагой и, перекусив в «Лавровом венке», сел за работу. Труд свой я отложил, когда уже стемнело, встал, потянулся и пошел затворить окошко. Ранним утром бывало свежо, и я не хотел проснуться от озноба. Окно я затворял левой рукой – правая была в чернилах, а мне уже как-то досталось от хозяйки моей, фрау Шмидт, за перемазанный подоконник.

Тут на лестнице послышались шаги, и вскоре в дверь мою постучали трижды.

– Входите, – сказал я, недоумеваю: кому это понадобился в такое позднее время?

Хозяева мои, добропорядочные немцы, спать ложились рано, а те загадочные господа, что крутились вокруг мастерской герра Штейнфельда, вряд ли забрели бы ко мне на чашку чая, хотя смысл в таком визите имелся – окно мое выходило не на Мальярную улицу, а на двор, и при желании можно было что-то разглядеть в ювелирных окнах.

Дверь отворилась, и вошли двое мужчин в надвинутых по самые брови круглых шляпах и длинных темных гарриках. Один решительно вышел на середину комнаты, другой остался у дверей.

На столе моем стоял двусвечник, и света, чтобы разглядеть лица гостей, не хватало, равным образом и они меня не видели – свечи находились между нами.

– Что вам угодно, господа мои? – спросил я строго.

Тут следует сказать, что я за два с лишним года рижского житья хороших знакомцев так и не завел. Сперва я пребывал в меланхолии и не понимал, что сам из нее не выкарабкаюсь, а лишь еще глубже увязну. Так я отпугнул даже тех немногих гарнизонных офицеров, которые рады были бы предложить мне партию в бильярд, и в итоге снискал репутацию гордеца и неисправимого одиночки. Вот и вышло, что некому было явиться ко мне поздно вечером, хотя бы лишь за тем, чтобы распить пару кружек пива или глиняный пузырек славного рижского бальзама Кунце.

– Месье, – обратился ко мне первый из гостей по-французски. – Вы ли господин Морозов?

– Да, я зовусь Александр Морозов, – отвечал я. – А с кем имею честь беседовать?

– Александр... – произнес тонкий голосок, который я и шесть лет спустя узнал немедленно. – Сашенька...

– Натали?! – воскликнул я.

Это была она – в мужском наряде, смертельно перепуганная. Я кинулся к ней, она ко мне, мы обнялись. Первые слова наши были бессвязны и нелепы, потом я даже припомнить их не мог. Наконец я усадил Натали на один из двух своих стульев, на другой уселся было сам, но она удержала меня.

– Это Луиза, мой друг, – сказала Натали, указав на второго господина в гаррике, который молча стоял у стенки, не вмешиваясь в наши речи. – Если бы не Луиза – я не оказалась бы здесь, благодари ее, друг мой, она – мой добрый ангел, она вырвала меня из ада!

Ангел, снявши шляпу, оказался особой крепкого сложения, несколько мужеподобной, с широкими бровями и даже с небольшими усиками, как часто бывает у средиземноморских жителей. Черные волосы этого ангела были коротко острижены, падали на лоб и спускались на щеки, давая иллюзию бакенбардов. На вид я бы дал этой Луизе лет тридцать пять, может, чуть поболее.

Уже и явление одной женщины в мужском наряде было удивительно, а две сразу – это превосходило всякое воображение.

– Но как ты оказалась здесь? – спросил я наконец. – Для чего этот маскарад? Или ты не знаешь, что вот-вот начнется война? Все, кто только может, уезжают из Риги.

– Именно поэтому мне удалось добраться до тебя. Дороги заполнены, на них царят суматоха и беспорядок, поэтому мы с Луизой смогли миновать петербургскую заставу без подорожной. Неужто ты еще не понял, что я убежала от господина Филимонова?

– От какого господина Филимонова? – в совершеннейшей растерянности переспросил я.

– Ах, не заставляй меня называть это чудовище мужем моим! – пылко воскликнула Натали.

И я вспомнил, что невеста моя уж по меньшей мере четыре года как замужем.

Она изменилась. Я не мог бы сказать точно, что именно в ее чертах стало другим – но пусть подтвердят мое наблюдение мужчины, умеющие по лицу отличить девицу от дамы. Есть некая разница – иной взгляд, иная складка губ, возможно. К тому же Натали спрятала волосы под шляпой, на лицо ее падали тени, и она выглядела старше своих двадцати двух лет. Я заметил, что убранные назад волосы многих женщин старят, поэтому дамы и девицы норовят выпустить локоны на лоб и на височки. Мою Натали я помнил именно такой – в ореоле светлых кудряшек, сзади же волосы собраны, чуть приподняты и плотно приколоты к затылку, так что казалось, что она коротко, словно мальчик, острижена. Даже ее белое платье, низко вырезанное, чем-то смахивало на рубашечку дитяти.

Этот образ был со мной в плавании, он не покидал меня в гавани Лиссабона и на Портсмутском рейде. Но в памяти моей Натали безмятежно улыбалась, сейчас же при первом неловком слове повышала голос, сердилась, во взгляде была злость. Эту перемену совершило в ней замужество.

– Прости, – сказал я. – Менее всего я желал обидеть тебя. Я просто пытаюсь понять, как тебе удался этот побег.

– За все благодари Луизу! Я упростила ее сопровождать меня, и она совершила невозможное – мы обе здесь, с тобой!

– Да кто ж эта Луиза?

– Моя горничная!

Я посмотрел на француженку – она совершенно не походила сейчас на горничную из приличного дома. Скорее уж она – в темном гаррике с тремя пелеринками и со шляпой на коленях, взгляд исподлобья – смахивала со своими усиками и широкими бровями на контрабандиста.

Луиза сидела за столом напротив Натали и смотрела сквозь нас так, словно бы спала с открытыми глазами. Понимала ли она русскую речь, я по ее неподвижному лицу определить не мог.

– Ты ничего не понял, Сашенька, но я сейчас объясню, – сказала, наконец сжавшись надо мной, Натали, я же стоял перед ней, как школьник, не выучивший урока. – Господин Филимонов ревновал меня ко всему на свете, он, кажется, и к лакею Ивану ревновал... ты помнишь Ивана Семеновича?..

– Как не помнить? Матушка твоя сказывала, что ты выросла на руках у старика.

– Она и сама у него на руках росла. Ему лет не менее, чем башне Вавилонской, он ледяной дворец государыни Анны помнит и место показывает, где тот стоял. А господину Филимонову и Иван не угодил. Когда мы в гости к матушке приезжали, я Ивана поцеловала, да как не поцеловать – он нам всем уж родной стал. А господину Филимонову, изволите видеть, не понравилось!

Тут я несколько смутился. Почтенный лакей Иван Семенович, помнится, и в годы нашей с Натали нежной страсти был весьма неопрятный старичок, утративший большинство зубов, что в его годы и неудивительно. Должность его состояла в том, чтобы сидеть в привратничкой и покрикивать на молодых слуг. Я бы тоже не пришел в восторг, видя, что супруга моя нежно ласкается к этому патриарху двора.

– Всякий выезд наш в свет завершался ссорой, – продолжала Натали. – Каждый, кто говорил мне обычные в свете слова о красоте моей, сразу делался врагом нашего домашнего очага! Наконец вздумал господин Филимонов, что мы во избежание ссор будем жить в деревне. Ты подумай, Сашенька, в деревне! Где он будет целыми днями зайцев стрелять, а я – сидеть у окошка, с тоской глядя на двор в ожидании, не подерутся ли мальчишки и не упадет ли, поскользнувшись, баба с полными ведрами! Я прожила с ним в этой хваленной деревне два лета – увольте! Но его намерения были основательны – он даже нанял Луизу...

Вот это меня удивило – на что французская горничная в деревне? Я задал вопрос и получил ответ, который свидетельствовал о том, до чего может довести женатого человека ревность.

Луизу он отыскал в модной лавке, куда заезжал за Натали. Когда супруга, недовольная семейной жизнью, ради утешения покупает себе множество безделушек, это может стать поводом для раздора. Но Луиза, видя, что муж выговаривает жене, а жена собралась разрыдаться, очень ловко повела дело. Как-то она сумела подольститься к господину Филимонову и показала, что знает толк в драгоценных камнях. Завязалась беседа, в которой Луиза явила хорошие манеры и ловкость воспитанной барыни. Господин Филимонов подумал несколько и вскоре предложил француженке пойти в горничные к его жене. Обязанность ее состояла в том, чтобы, поселившись вместе с госпожой своей в деревне, выписывать туда все модные новинки, командовать сенными девками в важном деле изготовления платьиц и салопов, развлекать Натали беседой и сопровождать ее при поездках к соседям. Луиза, подумавши, согласилась, и в несколько недель сделалась совершенно незаменимым человеком в доме. Но отъезд в деревню пришлось отложить – близость войны была очевидна, а в такую пору лучше не путешествовать, но сидеть в столице вблизи государева двора и следить за событиями. Между тем отношения между супругами делались все хуже, и все чаще Натали доставала из тайника в комодке пачку моих писем, которые она, став невестой, не уничтожила, а бережно сохранила. В один прекрасный день она показала эти письма Луизе, которая, столько лет прожив в России, научилась неплохо объясняться по-русски, и даже читать.

Я не хочу сказать, что все письма мои были писаны по-русски, более половины, помнится, я по-французски сочинил. Но по злой шутке судьбы Натали не имела способностей к языкам. Столько, сколько нужно знать для обхождения с кавалером в бальной зале, она заучила, а прочитать красиво написанное письмо без чьей-то помощи не могла. Поэтому я писал по-французски только простые записочки, когда же хотел объясниться в нежных чувствах более красноречиво, переходил на русский.

Между тем началась война. Господин Филимонов додумался наконец до того, что сам поедет в армию, запишется в ополчение, а молодую супругу переселит к своей матушке, чтобы та за ней как следует присмотрела. Натали пришла в отчаяние, и мысль о побеге, что зрела уже некоторое время, обрела свое воплощение...

– Но что же будет дальше? – спросил я. – Вы с господином Филимоновым повенчаны, любой полицейский вправе взять тебя за руку и отвести к законному твоему супругу. Я уверен, что тебя уже повсюду ищут...

– Как ты пуглив! – отвечала она. – Моряку ли, воевавшему с турками, слышавшему гром ядер и видевшему потоки крови, так бояться? Твоя матушка читала мне письма, что ты писал на палубе, под выстрелами, одной рукой держа перо, другой – пистолет!..

Я почувствовал, что краснею. Кажется, в письмах я был не в меру восторжен и описывал жизнь свою чересчур яркими красками. Насчет пера и пистолета я пошутил, это было накануне первого в моей жизни большого морского сражения у Дарданелл, и я завершил письмо очень красиво – тем, как жду начала славной битвы с оружием в руке. Я понятия не имел, что эти слова будут так чудно перетолкованы.

– Не спорь со мной, я решилась, я на все готова, потому что люблю тебя и проклинаю день, когда согласилась стать женой господина Филимонова! – воскликнула Натали. – Я про-

ехала шестьсот верст в мужском наряде, чтобы только быть с тобой! И никогда более не разлучаться!

Она вскочила и бросилась мне на шею. Я обнял ее не менее пылко, кося глазом в сторону Луизы. Сдается, что француженка и не такое видала. Ее лицо не изменилось.

– Я все это понимаю и преклоняюсь перед твоим мужеством! Но посмотрим на вещи практически. Это чужой нам город, где тебя не знают, но и я тут никого не знаю. Те русские купцы, что живут в Московском форштадте, староверы и очень беспокоятся, чтобы поменьше иметь дел с еретиками. Они даже держат особую посуду на тот случай, если в дом зайдет человек не их веры и попросит напиться...

Тут ступеньки лестницы заскрипели, Натали отпрянула от меня, а Луиза быстро надела шляпу.

Дверь отворилась. На пороге стояла Анхен и с большим недоумением глядела на моих гостей.

Я растерялся. Всякий более опытный мужчина непременно нашел бы, что соврать, я же молчал.

Анхен оказалась сообразительнее меня. Она не знала, кто эти люди, что летним вечером находятся в помещении, не снимая гарриков, и очень кстати подумала первым делом о своей репутации.

– Господина хотел видеть герр Вайсдорф. Приходил дважды и просил в любое время, когда господин явится домой, передать, чтобы завтра господин перед службой заглянул в мастерскую примерить сапоги, – сказала она, сделав маленький изящный книксен.

Эти немецкие книксены были на Малярной улице в большом ходу – иногда двух десятков шагов до своей двери не пройдешь, чтобы с тобой не поздоровались таким манером три или четыре девицы.

– Хорошо, милая Анхен, – по-немецки ответил я. – Благодарю тебя. Спокойной ночи.

Никакого Вайсдорфа я, разумеется, не знал.

– Спокойной ночи, – пожелала и она, сделала прощальный книксен и выскочила за дверь. Но шагов на лестнице я, как ни вслушивался, не уловил. Похоже, моя прелестница не прочь была немного подслушать у двери.

Она мало что поняла бы по-русски и ни слова по-французски, но женский голос она отлично бы признала. Поэтому я прижал палец к губам, всем видом своим показывая Натали и Луизе, чтобы они молчали.

Натали удивилась – она по простоте душевной не поняла, что ее могут подслушать. Луиза же, более опытная, повторила мой жест и кивнула. После чего она по-французски тихонько подсказала мне мои дальнейшие действия, за что я был ей крайне благодарен.

– А теперь, господа мои, я провожу вас. В Риге много пришлого народа, улицы в ночное время сделались беспокойны, – громко и внятно сказал я по-русски. – Подождите, покамест я не заряджу пистолеты.

Мне хотелось показать Натали, что я готов вступить ради нее в любое сражение. И наградой мне был пламенный взгляд.

Мы вышли на Малярную улицу и, молча ее пройдя, свернули на Большую Королевскую. Там лишь я позволил дамам заговорить.

– Где вы оставили ваши вещи? – спросил я.

– Луиза отыскала трактир, – Натали повернулась к француженке, ожидая от нее дальнейших объяснений.

– Я остановила носильщика и спросила у него, где можно снять комнату недорого, – по-французски ответила Луиза. – Он проводил нас к знакомцу своему.

– И вы не побоялись оставить там вещи?

– Вещей у нас немного. Все, что лишь возможно было, мы обратили в драгоценности и деньги, а также купили оружие, – тут француженка достала из-под широкого гаррика и показала мне пистолет. – Мы рассудили, что вещи можно приобрести и в Риге. Вы должны найти для нас более приличное помещение.

Если бы тогда я догадался спросить у нее, на каком языке разговаривала она с носильщиком! Если бы она мне ответила! Если бы я хоть удивился тому, что две женщины, доверившись какому-то незнакомому носильщику, спешат тайно поселиться в любом месте, куда бы он их ни отвел! Многих наших бед, не говоря уж о лишней суете, удалось бы избежать. Но мне тогда и в голову не пришло, что рижские носильщики не знают французского языка.

– Я отпрошусь на службе и схожу в Московский форштадт. Может статься, купцы посоветуют мне, у кого снять чистую комнату. Если вас будут искать, то первым делом пройдут по гостиницам. Точно ли никто не догадался, что вы уехали в Ригу? – спросил я.

– Боюсь, что догадаться нетрудно, – мрачно отвечала Луиза. – И тем важнее для нас хорошо спрятаться.

– А ты будешь нас каждый вечер навещать, – добавила Натали. – Когда же война кончится, мы найдем способ жить вместе. Я даже вот что придумала – я погибну на войне! Мы все так устроим, чтобы господин Филимонов получил извещение о смерти моей!

– О Господи... – прошептал я.

Нам только этой глупости не доставало. Но мысль о том, что я вновь буду встречаться с моей Натали, заглушила доводы рассудка, и я вместо того, чтобы образумить мою любимую, спросил, как они с Луизой отыскивали мое жилище на Малярной улице.

– Нас твоя матушка надоумила. Ты же писал ей, где поселился, и так обрисовал свою голубую дверь с белыми вазонами и лентами, что спутать было невозможно.

Выходило, что Натали, уже выйдя замуж, бывала у матушки и расспрашивала обо мне. С одной стороны, это звучало утешительно, а с другой – матушка, узнав, что ко мне сбежала от супруга замужняя дама, в восторг не придет и может даже как-то подучить господина Филимонова, где ему искать беглянку. Открытая связь с замужней уже достаточно опасная вещь, а женитьба на разведенной – лучший способ для офицера погубить свою карьеру, и матушка сделала бы все возможное, чтобы нас разлучить.

Все смешалось в моей голове – прекрасные воспоминания и возникшие тревоги. А рядом шла Натали в тяжелом суконном гаррике почти до пят, скрывавшем ее тонкий и женственный стан.

К удивлению моему, Луиза нашла жилье в городских стенах, на маленькой Конюшенной улице, неподалеку от Карлова бастиона. Если вспомнить, как переполнена была Рига беженцами из Курляндии и армейскими чинами, то ей неслыханно повезло. Так я и сказал, но она даже не улыбнулась.

– Вряд ли я найду вам пристойное жилье в самом городе, скорее уж в Петербургском форштадте... – начал было я и осекся, форштадты рижские находились под угрозой. При опасном приближении противника их решено было сжечь.

– Мне хотелось бы жить неподалеку от тебя, Сашенька, – тихо сказала Натали и неприметно пожала мне руку.

– Возьмите, – произнесла Луиза, протягивая мне замшевый мешочек, смахивавший на кисет для табака. – Обратите это в деньги и устройте нам приличное жилье. Пока не сделаете этого, не появляйтесь тут. Нужно соблюдать осторожность.

Это был приказ – и самый голос изобличал особу, которая родилась с желанием приказывать. Менее всего эта Луиза походила на приветливую и лстивую девицу из модной лавки.

Натали протянула ко мне руки, чтобы обнять, но спохватилась – хотя стемнело и улочка была сейчас пустынна, но горело несколько фонарей и кое-где выставленные на окна свечи.

Странные мысли пришли бы в голову добродетельному бюргеру, увидь он, как обнимаются и целуются в уста двое молодых мужчин.

– Чуть не забыла, господин Морозов. Там среди прочего есть медальон, в нем вставлена миниатюра. Извлеките ее; вы, мужчины, умеете это проделывать более ловко, чем мы, женщины, – добавила Луиза и как-то криво усмехнулась. – И при встрече верните мне. Она мне дорога. Коли будете нас спрашивать – мы поселились под именем Гамбсов, я герр Генрих Гамбс, а это мой брат Пауль. Пойдем, сударыня.

Она произнесла имена несколько на французский лад – «Анри» и «Поль».

Луиза постучала в окошко, почти сразу же дверь отворилась, и француженка увела в дом свою русскую хозяйку.

Я неторопливо пошел обратно. Слишком многое следовало обдумать, и я оказался у знаменитой голубой двери, когда она была заложена засовом. Пришлось стучать в окошко.

Хозяин в ночном колпаке с заметным неудовольствием впустил меня.

– Я должен был проводить двух приятелей моих, которые в Риге едва ль не первый день и рисковали заблудиться, – объяснил я.

– Что ж это они прибыли, когда началась война и всем следует, наоборот, уезжать подальше? – спросил хозяин.

– Прибыли по служебной надобности, герр Шмидт.

Он дал мне свечу в подсвечнике, чтобы я не сломал себе шею, поднимаясь наверх, и вернулся на супружеское ложе.

У себя в комнате я высыпал на стол содержимое замшевого кисета. Это были украшения, золотые кольца, серьги, браслеты. Одну пару серег я знал – ее праздничные, девических времен, надеваемые на балы и в театр. Перстенок тоже был мне известен, я видывал его, когда украдкой целовал ей руку. Я понял: господин Филимонов ограничивал Натали в деньгах, и она принуждена была продавать драгоценности, полученные в приданое. Кроме того, там оказались жемчуга, на мой взгляд, очень дорогие, и старинная золотая брошь в два вершка высотой, изображавшая букет роз, с рубинами, изумрудами и бриллиантами, и прочие безделушки немалой цены. Возможно, Натали получила их в наследство от покойной бабки, которая ее очень любила.

Я принял решение ни в коем случае этих вещиц, хранивших воспоминания безмятежной нашей юности, не продавать. Деньги у меня имелись – жалование мое было более чем достаточно, траты невелики, а кое-что я успел отложить.

Однако, чтобы не ссориться с Натали, нужно было показать вид, будто драгоценности проданы. Для этого следовало вынуть из медальона миниатюру, о которой говорила Луиза. Я достал перочинный ножик, открыл его и залюбовался женским лицом.

Это была дама или девица лет двадцати, со светло-каштановыми кудрями, выступавшими из-под белого с красным шарфа, небрежно намотанного на голову в виде тюрбана. Платье низко вырезанное, совсем простое, без кружев и без прикрывавшей грудь косыночки-фишю. Взгляд у девицы был гордый, да и весь ее облик излучал высокомерие. Я вгляделся, пытаюсь понять, отчего сложилось у меня такое впечатление, и решил, что виноваты поворот головы, задранный подбородок и нос с отчетливо видной горбинкой.

Следовало спрятать драгоценности. В мое отсутствие фрау Шмидт сама прибиралась в комнате, и такая находка вызвала бы у моих хозяев совершенно излишнее любопытство; с другой стороны, таскать мешочек с собой я не хотел, памятуя о случае, когда меня чуть не обокрали. Я стал искать тайник.

Комната моя была обставлена просто – стол, два стула с прямыми спинками, кровать, этажерка с книгами, комод, маленький шкаф, рядом с коим висели на гвозде укрытые простыней моя шуба, теплый сюртук и положенная по уставу серая шинель с медными пуговицами. Имелись еще таз на табурете и подвешенный над ним медный рукомойник, а рядом – туалет-

ный столик, застланный чистой белой салфеткой и маленькое зеркало на стенке. На салфетке я разложил все содержимое своего походного несессера – щетки для волос, зубов и ногтей, ножнички, бритву с состоящей при ней плоской, гребенки, помаду, без которой волосы мои торчали дыбом, флакон с туалетной водой, коробочку с мылом.

Украшали мое жилье картинка, изображавшая букет полевых цветов, и подвешенный на гвоздик магнит в медной узорной оковке, который подарил мне дядюшка мой Артамон. Внизу безделушка имела острый крючок. Посреди неуклюжих завитков обрамления стояли два медных человечка, одетые, надо думать, по моде времен государя Петра Великого. Один, повыше, держал в руке кувшин. Другой, пониже, – фонарь. Между ними произрастал цветок величиной с порядочную сковородку. Артамон утверждал, что это Молиеровы Дон Жуан и Станарель; Дон Жуан идет к даме с кувшином вина, а Станарель с фонарем его сопровождает. Если учесть, что дам мы не видали месяцами, шутка получалась весьма печальная.

Магнит был предметом на судне необходимым. От количества железа и чугуна на корабле, а также после бурных гроз компасы начинали безбожно врать, и приходилось заново магнитить стрелку. В мирной жизни я пользовался дядюшкиным подарком отнюдь не по назначению, а просто цеплял к нему записки с напоминаниями, самому себе адресованные.

Поразмыслив, я засунул кисет в потайной карман теплого сюртука, рассудив, что при уборке фрау Шмидт вряд ли туда заберется.

Разумеется, в ту ночь заснул я лишь перед рассветом. Припомнилось все – и первый наш поцелуй, и острый приступ горя, когда я узнал о свадьбе Натали. Одновременно я строил планы: коли она до такой степени несчастна в браке, что убежала от мужа, то, значит, всей душой желает развестись и обвенчаться со мной. То, что это супружество ставит крест на моей карьере, меня мало беспокоило – я не мог отречься от любимой женщины, которая мне доверилась, и выполнил бы свой долг перед ней любой ценой. Я просто не знал, как следует добиваться развода, хотя подозревал, что репутация дамы для этого должна быть безупречна.

Совсем было задремав на мысли о репутации, я вдруг ахнул: что, коли у Натали есть уже ребенок, а то и двое? Если она более четырех лет замужем, то это – дело вполне возможное. Тяжко же нам придется, коли мы вздумаем соединиться...

Глава третья

Я понятия не имел, где поселить Натали с Луизой. Более того, я не знал, к кому в этом городе следует обращаться, чтобы мне порекомендовали недорогое и приличное жилье. Сам я поселился на Малярной улице при содействии знакомого моего, таможенного чиновника. Разумеется, зайди я на полчаса в канцелярию порта или таможни, мне тут же присоветовали бы хороших домовладельцев. Но я был убежден, что Натали и Луиза не сумели хорошо спрятать свои следы. Если родня чудовища, каковым изобразила мне Натали господина Филимонова, сообразит свести концы с концами и проведаст, что бывший жених беглянки служит в Риге, то первым делом начнут домогаться правды от меня и моих сослуживцев.

Рига была переполнена людьми всех званий. Рижский гарнизон рос, как на дрожжах: если при моем прибытии в Ригу там было едва ли десять тысяч человек, то теперь – не менее двадцати тысяч. Жители форштадтов кинулись спасаться под защиту городских валов и пушек, пройти по улицам сделалось невозможно от тесноты. Да еще преисполненные гордости, маршировали взад и вперед бюргерские роты, то бишь отряды военных граждан. Они были составлены из потомственных рижских жителей, а город, как изволил выразиться Шешуков, сто лет пороху не нюхал. Сии роты годились разве что для несения караулов, заготовки продовольствия и присмотра за тем, как в городе исполняют приказы коменданта.

Как и во всяком городе накануне осады, слухи метались один другого причудливее. Одни кричали, что на выручку к нам спешат морем англичане и шведы, другие клялись, что армия русская разгромлена, а Бонапарт завтра к обеду будет в Москве, и обыватели рижские дружно лазили на высокие колокольни – высматривать французов, наступающих с суши, или паруса, летящие к нам по морю. Когда же этих добровольных и бестолковых наблюдателей с колоколен сгоняли, они бежали к заставам, ложились наземь, благо погода стояла сухая и лужи отсутствовали и, приложив ухо к земле, слушали: нет ли вдали пушечной канонады. При этом они громко клялись лечь костями за родной город, после чего, посчитав, что долг исполнен, и отряхнув штаны, прекращали проказы свои и бежали домой – грузить имущество на телеги, пока еще есть возможность убраться из Риги.

Герр Штейнфельд, с которым я столкнулся день спустя на углу Малярной и Кузнечной улиц, был сильно озабочен. Он являлся главой преогромного семейства, состоящего главным образом из женщин, и намеревался в случае серьезной опасности отправить их всех, включая мою Анхен, в Дерпт.

– Мы хоть и не знаем тягот осады, однако не глупы, – сказал он мне. – Коли по городу будут палить из пушек, ядра понаделают беды – ведь дома стоят очень тесно. С другой стороны, остающимся в городе бюргерам и обывателям предписано запастись провиантом на четыре месяца. А провиант, кстати говоря, сразу же, как стало известно о войне, вздорожал. Представляете, сколько мешков с мукой и крупами мне пришлось бы покупать? К тому же, как прикажете запастись молоком, сметану и коровье масло для маленьких детей? Теперь же я останусь в доме с двумя подмастерьями, и вдвоем мы не пропадем.

Все бы ничего, да только я наблюдал позапрошлой ночью в окошко, как из мастерской через двор проносили к герру Штейнфельду те самые мешки, которые его так перепугали. Я мало смыслю в тайных приработках ювелира, но тут догадался: в случае, ежели осада затянется, мой любезный сосед будет не просто торговать исподтишка своими припасами, но выменивать их на золото и драгоценные камни. Голодные люди позабудут о цене своих сокровищ, а в мирное время окажется, что герр Штейнфельд неслыханно разбогател.

Мой квартирный хозяин герр Шмидт тоже мудрил на свой лад – он затеял возню в том самом погребе, где таилась каменная стена невесты которого века. Судя по грязной лопате,

которую он позабыл под лестницей, герр Шмидт собственноручно закапывал в погребке самое ценное свое имущество.

– Как же вы, герр Штейнфельд, отправите женщин с детьми одних? На дорогах Бог весть что творится, – сказал я, прежде всего обеспокоившись судьбой Анхен. Она не была мне ни женой, ни невестой, но я менее всего хотел, чтобы с ней приключилась какая-нибудь беда.

– Вам точно известно, герр Морозов?

– Точно, герр Штейнфельд! – соврал я, полагая сие пресловутой ложью во благо, за которую и батюшка на исповеди не слишком корит.

– Так я договорюсь, пожалуй, с Гольдштейном, который также отправляет жену и дочерей! Надобно, чтобы они ехали все вместе.

– Вам следует составить... – тут я задумался, подбирая слово, наконец сказал по-русски «караван» и объяснил ювелиру, что это такое. В результате я узнал, что и булочник Бергер также посылает свое семейство в Дерпт.

Из этого следовало, что и у Гольдштейна, и у Бергера освобождаются комнаты!

Расставшись с Штейнфельдом, я побежал к Бергеру на Большую Песочную и очень разумно с ним уговорился. До того, как его семейство двинется в дорогу, Натали и Луиза могли пожить в чердачной комнатке, чтобы не проворонить комнату большую и светлую на третьем этаже, которую он мне почти обещал. Я насильно всучил ему задаток и той же ночью привел своих подопечных. При этом я нес саквояж Натали, а Луиза свои вещи тащила сама и без малейшего видимого усилия.

Обе они были в мужской одежде, в длинных гарриках, и я отрекомендовал их хозяину приятелями своими, Генрихом Гамбсом и его младшим братом Паулем. Бергер был подслеповат, в лица не вглядывался, и переселение прошло благополучно. Я заплатил хозяину вперед, а Натали и Луизе сказал, что это – из денег, вырученных за продажу одной из безделушек, и что я буду искать хорошего покупателя, благо время терпит и голодная смерть никому из нас не грозит.

Далее жизнь моя временно раздвоилась.

Днем была война. Придя с утра в портовую канцелярию, я узнавал новости. Как всегда, лучше прочих разбирались в стратегии и тактике чиновники, не державшие в руках ничего острее перочинного ножичка. Эти яростные критики, кстати говоря, изрекали много верного. Когда фон Эссен отправил Левиз-оф-Менара с его полевым отрядом провести разведку боем, даже канцелярский истопник знал: выходить навстречу противнику следовало не одним отрядом, а всеми силами рижского гарнизона, иначе Макдональд, чьи силы по сведениям разведки неизмеримо превосходили наши, разобьет нас в пух и прах. Отряд, впрочем, был не мал – четыре батальона, четыре казачьих сотни, но всего десять пушек. Формально он мог бы противостоять Граверту, с которым ему предстояло сразиться, хотя уступал прусской дивизии по численности. А на деле эти четыре батальона являлись не боевыми подразделениями, а учебными командами, состоявшими из необстрелянных солдат. Отправлять их в такое дело – значило сильно рисковать.

– Как ни доблестен Лезь-на-фонарь, а добром это не кончится, – заявил истопник, иностранных языков не знавший и знать не желавший, а приспособливавший немецкие и прочие слова к русскому наречию как Бог на душу положит.

Это был обычный российский инвалид, неведомыми путями оказавшийся в Риге и пристроенный на хорошую службу. Собратья его, ставшие здешними будочниками, зимой, случалось, и насмерть замерзали в дощатых своих полосатых будках, а наш Агафон сидел в тепле. Ему же принадлежало гениальное сочинение: «Барон фон Эссен умишком тесен», которое мы постарались разнести по всему городу.

Порт и таможня состояли в некоторой оппозиции к Рижскому замку и потому критика всех действий фон Эссена была любимейшим нашим занятием в краткие свободные минуты.

Любопытно, что предшественника его князя Лобанова-Ростовского теперь всю хвалили, хотя еще в апреле честили в хвост и в гриву. Он и точно был самолюбив, коли на кого озлится – то надолго, и Николай Иванович нашел этому изрядное объяснение.

– Все, кто мал ростом, злопамятны и рвутся к власти, взгляните хоть на Бонапарта, не к ночи будь помянут, – говаривал он. – А князь еще и нерусских кровей. Кабы татарских – полбеда, татары много славных родов нам дали, а он, чего доброго, прижит матушкой своей от лакея-калмыка, достаточно взглянуть на его рожу... Однако говорят, что в битвах он себя не щадил, вот и докопайся тут до истины...

Позднее выяснилось, почему его у нас забрали и дали нам фон Эссена. Князь был сделан военным начальником в губерниях от Ярославля до Воронежа и успешно сформировал две дивизии резервного войска, за что сподобился высочайшей благодарности.

Итак, Левиз-оф-Менар был отправлен навстречу Макдональду, и это занимало меня днем, вплоть до позднего вечера, а с наступлением темноты мир мой преображался. Я прокрадывался к Бергеру на чердак, а затем и в комнату на третьем этаже, где ждала меня моя Натали, уже в дамском платье из голубенького муслина, что шел к ее глазам, в красивой шали на восточный лад, с золотой каймой и кистями, длиной в три человеческих роста, в которую она трогательно куталась. Луиза так и осталась в мужском костюме, который, как я понял, был ей весьма привычен. Выходя из дому, она надевала коричневый сюртук и серые панталоны. Если учитывать, что Рига сильно напоминала Ноев ковчег, где всякой твари по паре, и для полноты картины недоставало лишь турок в шароварах и фесках, то Луиза не привлекала к себе избыточного внимания. Ей как-то удавалось казаться мужчиной и проходить сквозь толпу, избегая подозрительных взглядов.

Несколько вечеров провели мы вместе, причем пределом моих мечтаний было прикоснуться к руке Натали. Нам обоим было страшно как неловко за встречу, когда мы бросились друг другу в объятия, и Натали всем своим видом говорила мне: друг мой, я не такова, нам следует заново привыкнуть друг к другу, а спешить решительно некуда... Я же не желал оскорблять ее естественную для женщины стыдливость.

Она хотела, чтобы мы сотворили из комнатки подобие салона. Оказалось, моя Натали всю жизнь желала стать хозяйкой литературного салона, чтобы у нее собирались по четвергам поэты и музыканты. Взять эту публику мне было негде, и я додумался – принес ей старый «Вестник Европы», где напечатана была баллада Жуковского «Людмила», и взятый у фрау Шмидт томик стихов Бюргера с балладой «Ленора» на немецком языке. Жуковский использовал «Ленору» для своей «Людмилы», и я предложил Натали сравнить обе баллады. Заодно она имела бы случай поупражняться в немецком языке, который знала еще хуже французского, то есть – из рук вон плохо.

Натали же принялась читать балладу вслух с неизъяснимым выражением – как если бы каждое ее слово относилось ко мне, бросившему свою невесту ради военного похода на произвол чудовища Филимонова:

– «Где ты, милый? Что с тобою?
С чужеземною красою,
Знать, в далекой стороне
Изменил, неверный, мне;
Иль безвременно могила
Светлый взор твой угасила».
Так Людмила, приуныв,
К персям очи преклонив,
На распутии вздыхала.
«Возвратится ль он, – мечтала, —

Из далеких, чуждых стран
С грозной ратю славян?»

Она произносила стихи с томным видом, возводя взор горе, и я испытывал подлинные угрызения совести. Однажды на глазах Натали даже слезы показались. Это было, когда она произнесла слова горестной Людмилы:

– Что прошло – невосвратимо;
Небо к нам неумолимо;
Царь Небесный нас забыл...
Мне ль он счастья не сулил?
Где ж обетов исполнение?
Где святое провиденье?
Нет, немилостив Творец;
Все прости; всему конец».

И далее стихи были еще более трагичны:

– «Рано жизнью насладилась,
Рано жизнь моя затмилась,
Рано прежних лет краса.
Что взирать на небеса?
Что молить неумолимых?
Возвращу ль невозвратимых?»

Сейчас мне даже кажется потешным, что мы едва ли не рыдали, читая балладу, тогда однако ж нам было не до шуток, и явление загробного жениха Людмила нисколько нас не забавляло. Будь моя судьба менее удачлива, этим женихом мог бы быть я сам. Теперь-то мы веселимся над неизменным «Чу!» господина Жуковского, но тогда я читал с замиранием в голосе:

Чу! в лесу потрясся лист.
Чу! в глуши раздался свист,
Черный ворон востепенулся;
Вздрыгнул конь и отшатнулся...

Тут нужно еще вообразить себе комнатку, озаряемую одной-единственной свечой, и силуэты высоких остроконечных крыш в окошке, и все то, что с легкой руки сэра Вальтера Скотта теперь зовется местным колоритом.

Но я не мог оставаться в этой комнатке до рассвета, и не только из приличия, но и из соображений безопасности принужден был бежать к себе на Малинную улицу. Повторяю – в городе оказалось множество пришлого народа, и если раньше я мог, поднажившись, признать каждого, кто встретился бы мне за полсотни шагов от дома, то теперь уж нет.

Анхен была сильно озадачена моими ночными возвращениями. Она пыталась перехватить меня утром, но я отговаривался тем, что спешу на службу.

Это уже все длилось более недели, дней восемь, во всяком случае, когда соседке моей удалось застать меня вечером дома – я заходил за обещанными Натали книгами.

Это был печальный день – стало известно о неудачной разведке боем. Безрассудство фон Эссена не смог поправить даже такой прекрасный командир, как Федор Федорович Левиз-оф-Менар.

Он занял, как донесли гонцы, очень удачную позицию у Гросс-Экау. Шешуков, желая восстановить ход сражения, расстелил на столе карту, и я отыскивал нужное место. Там сходились пути на Бауцен, Митаву и Ригу. Ожидали стычки с Гравертом, в донесениях шпионов наших прочие Бонапартовы полководцы не упоминались, но другой генерал Макдональда, некто Клейст, подошел к нашим позициям с другой стороны. Полнейший разгром был неминуем, но Левиз-оф-Менар ловким маневром переиграл противника. Граверт, желая отрезать его от Риги, сосредоточил главные свои силы к северу от Гросс-Экау, а наши ночью пошли в штыковую атаку и прорвались на юг.

Чем все это кончится – мы понятия не имели, и потому разошлись вечером по домам в тягостном состоянии. Из-за неосмотрительности фон Эссена мы могли потерять и четыре батальона пехоты, и четыре казачьих сотни, не говоря уж о пушках.

Единственное, чего мне не доставало, так это ссоры с моей прелестницей.

Я не стану повторять тех упреков, которыми Анхен осыпала меня. Это были обычные упреки женщины, любовник которой ей неверен. Худо другое, она оказалась не в меру сообразительна и объявила, что один из гостей моих – переодетая женщина. Это было уж вовсе некстати – тем более, что женщиной она назвала не Луизу, которую могла разглядеть лучше, а Натали, стоявшую в дальнем и углу комнаты. Мне только этого не доставало.

– погоди, милая Анхен, не кричи, ты переполошишь герра Шмидта с его фрау, и что же они подумают, услышав твой голос из моей комнаты? – спросил я.

– Пусть думают, что им угодно! – отвечала строптивая Анхен. – Я полагала, что нашла в тебе друга и советчика, ты же...

– Ты нуждаешься в совете? – спросил я, подходя к этажерке.

Взгляд мой невольно упал на магнит, подаренный Артамоном, и я подумал, что мог бы развлечь Натали этой игрушкой, цепляя к ней иголки и наперстки. Поэтому я присовокупил магнит к книжкам.

– Да, но я уж не знаю, снизойдешь ли ты...

Мы с Анхен были близки около двух лет, это налагает известные обязательства.

– Ступай домой, – сказал я. – И попозже возвращайся! Я схожу отнесу книги и скоро буду назад.

– Я в таких жертвах не нуждаюсь! И коли ты разлюбил меня!..

Тут упреки были продолжены, причем довольно громко. Я тоже невольно повысил голос. Кончилось тем, что я попросту сбежал.

Натали сразу поняла, что я взволнован, и кинулась утешать меня со всем пылом влюбленной женщины. Как только Луиза, видя наши возбужденные лица, деликатно покинула комнату, мы поцеловались – и беседа тут же зашла о нашем будущем. Наконец прозвучало слово «повенчаемся», и произнесла его она.

Беседа эта занесла нас в такие дали, что я почувствовал себя крайне неловко.

Не хочу хвалиться своими победами, но и до Анхен я знал женщин, и ни одна не соглашалась быть моей подругой лишь потому, что рассчитывала на брачные узы, а только в порыве пылкой страсти. И я знал, что женщинам нравится то, ради чего, собственно, мы и добиваемся их благосклонности. Оказалось – я имел дело с женщинами распущенными и развращенными, так сказала мне негодующая Натали, когда я заикнулся о том, какое нас с ней ждет блаженство. А женщина порядочная либо вообще не говорит об этой стороне жизни, либо употребляет слова «делать гадости».

Это меня совершенно изумило, и я, кое-как успокоив свою невесту, осторожно спросил ее – как же она собирается жить со мной и рожать мне детей?

Оказалось, к этому вопросу Натали отлично готова!

– Сашенька, я читала «Наставления женатому духовенству», мне матушка Ксения давала, я выпросила! Там все так разумно! Священник, который уж точно живет по-христиански и соблюдает все посты, может сближаться с женой только восемьдесят два раза в год. Если ты прибавишь роды, беременность, кормление, то найдешь, что в течение трех лет священник сближается с женой только тридцать раз в год. Это менее трех раз в месяц! И когда мы поженимся, мы будем поступать, как они!

Услышав эту арифметику, я содрогнулся. Меня поразило, до чего же может довести молодую, красивую и пылкую женщину отвращение к мужу – Натали даже взялась за математические расчеты.

– Но я не знаю так хорошо священников, и когда моя обожаемая Натали будет мне принадлежать, я чаще буду доставлять себе блаженство, – запинаясь, возразил я, – величайшее, когда любят, как я люблю тебя, безумно.

– Но, Сашенька, мы будем счастливы и без того, что ты зовешь блаженством!

Будущее, которое и без того казалось мне смутным и полным тревог, обернулось совсем неожиданной стороной – то единственное, что оправдывало бы наш союз, если не в глазах света, то хоть в глазах друзей наших, оказалось из этого союза изъято и выброшено, как ненужный и отвратительный хлам.

Не желая ссориться с любимой, я стал развлекать ее магнитом и связанными с ним историями. Я рассказал, как после бурной грозы у Ионических островов компасы наши размагнитились, зато дивным образом намагнитились пушки, так что к ним стали прилипать железные предметы, и мой удалой дядюшка Артамон, которого Натали хорошо знала, развлекался тем, что лепил к пушечным бокам все, что полагал железным, пока не утопил свои карманные часы.

Июльские вечера долги – я не сразу сообразил, что ночь уже наступила. А когда я вспомнил, что дома меня ждет Анхен, то засуетился и весьма неуклюже откланялся.

От Песочной улицы до Малярной бежать вроде и недалеко, но выбрать самый короткий путь мудрено – так причудливо загибаются улицы. Я спешил к себе, моля Бога, чтобы Анхен дождалась, иначе наутро она подстережет меня и поднимет шум. В громкости ее голоса я уже убедился.

Голубая дверь с белыми вазонами и лентами оказалась открыта. Очевидно, герр Шмидт, измученный земляными работами, позабыл задвинуть засов. Это было весьма удивительно, но не сверхъестественно, суматоха в городе царила такая, что и более серьезные материи легко забывались. Я вошел – и тут же получил сильнейший удар в грудь.

Треснувшись затылком о косяк, я еле устоял на ногах и чудом не вывалился на улицу. Что-то живое и очень подвижное проскочило мимо меня и кинулось наутек.

Никаких сложных размышлений по этому поводу у меня не возникло. Это мог быть разве что вор – но я несколько секунд был не в состоянии бежать вдогонку.

Соображение вернулось ко мне быстро – я вспомнил, что дверь моей комнаты надежно заперта, и один ключ у меня, второй у фрау Шмидт. Запирать двери в этом доме любили и гордились заведенными порядками. Если герр Шмидт, услышав возню чужого человека в прихожей, не поднял тревогу – значит, вор проник совсем недавно, может, всего несколько минут назад, и еще ничем не успел поживиться. Утешив себя этой мыслью, я наощупь стал подниматься по узкой и кривой лестнице.

Когда до двери моей оставалось три ступеньки (я знал это точно, потому что вел им счет), нога моя встала на некую плотную массу, гуляющую под подошвой сапога, так что я принужден был ухватиться за перила. Затем я, нагнувшись, ощупал этот предмет и понял, что наступил на человеческую руку. Рука была прохладна, мягка и на пожатия мои не отвечала.

Она оказалась обнажена по локоть, с нежной кожей, и я догадался, что на ступеньках лежит женщина. Это могла быть только Анхен – она обыкновенно приходила ко мне в потемках

через двор и заднюю дверь, и было несколько случаев, когда она ждала меня, тихонько сидя на лестнице и оставаясь незаметной для семейства Шмидт. Я встряхнул ее – она не шелохнулась.

Вдруг я понял, что Анхен сидит как-то странно – не могла ее рука оказаться ниже ног!

Я видывал мертвые тела во время нашей средиземноморской экспедиции, я и раненых перевязывать помогал. Но это было мужское дело – война, и то, что гибнут молодые и здоровые мужчины, казалось трагичным, но естественным. Я и сам мог погибнуть в любой миг морского сражения, а уж Артамон с Алешкой Сурковым – и подавно.

Ощупав Анхен, я понял, что она лежит на ступеньках вниз головой, не свалившись вниз лишь потому, что лестница узка, крута и загнута странным образом. Понял я также, что она мертва.

В голове у меня помутилось. Решив, что убийца ее, который выбежал из моего дома несколько минут назад, не успел далеко уйти, я кинулся в погоню.

Он побежал в сторону Большой Королевской улицы, а куда делся дальше – Бог весть. Но на углу Большой Королевской и Известковой была будка, я мог расспросить будочника! Повернувшись на лестнице, я неверно поставил ногу и так ловко сверзился, что выломал балясину перил и произвел грохот, особенно звучный в ночной тишине.

Из комнат герра Шварца послышался недовольный голос, но мне уже все было безразлично – я должен был поймать и предать в руки правосудия ту черную тень, что, отпихнув меня, выскочила из дверей и пропала. В том, что это убийца, я не сомневался. И иных мыслей у меня в голове не было, если бы я верил, что Анхен еще можно спасти, то конечно же никуда не побежал бы.

Бегать ночью по рижским улицам – сомнительное удовольствие, они вымощены округлыми камнями, которые с наступлением темноты делаются почему-то еще и скользкими. Я все же примчался к ближайшему будочнику, которого знал и всегда, проходя мимо, здоровался с ним, а он делал мне «на караул» своей огромной алебардой и молодецки ухмылялся. Звали его Иван Перфильевич, и он, коли не врал, служил еще в шведскую войну у адмирала Грейга.

Будочник, как и положено при его ремесле, мирно спал, а по аромату, его окружавшему, нетрудно было догадаться, что за снотворное он употребил. Я растолкал Ивана Перфильевича, еле удерживаясь от искушения отлупить этого доблестного стража порядка его же дурацкой алебардой, но ответа на свои вопросы не получил.

Тут надобно сказать, чем я был вооружен.

Уходя от Натали, я взял с собой магнит. Он был довольно тяжел, чтобы проломить самый прочный череп. И я по наивности полагал, что убийца подпустит меня достаточно близко, чтобы я мог с ним посчитаться, да еще будет стоять столбом, ожидая возмездия.

При этом я почему-то забыл, что на боку у меня, как у всякого морского офицера, висит кортик. Я так привык цеплять его, одеваясь утром, что в глубине души, видимо, считал уже не оружием, а предметом туалета.

Провидение, как выяснилось позднее, было ко мне благосклонно – я от волнения оставил магнит в будке и направился обратно, хотя и не напрямиком. Я обежал окрестные улицы – по Известковой до Кузнечной, по Кузнечной до Ткацкой, и вернулся домой по Королевской.

Там уже было шумно. Герр Шмидт, вооружившись тростью со стальным набалдашником, вышел в прихожую, осветил ее и обнаружил тело Анхен. Он принялся звать супругу свою и соседей, сбежались люди, и к моему приходу многие даже стояли на улице в шлафроках, ночных колпаках и с фонарями. Среди них я узнал и ювелира Штейнфельда, и старших женщин из его беспокойного семейства – ювелирову сестру Эмилию и родственницу Доротею.

Вся эта толпа добропорядочных немцев накинута на меня с криками, рукам, однако ж, воли не давая – за избиение офицера, да еще в военное время, им бы крепко досталось. Но из воплей я понял, что эти безумцы обвиняют в убийстве Анхен меня. Это было совершенно нелепо, но перекричать их я не мог.

К тому же руки мои были выпачканы в крови – ощупывая Анхен, я менее всего беспокоился о чистоте.

Особенно старались женщины. Напрасно я полагал, будто визиты Анхен ко мне остались в тайне – Эмилия и особенно Доротея, подсматривая за молодой своей родственницей, догадались о нашей нежной дружбе. И из их речей я понял, что к Анхен хотел посвататься почтенный бюргер, знавший еще ее покойного мужа, и она этим сватовством была довольна. Так что, будь я ревнив, имел бы основание, чтобы проучить неверную.

Наконец герр Шмидт сумел кое-как уговорить соседей.

– Мы посадим этого господина в подвал, а утром вызовем сюда квартального надзирателя, – сказал он. – В подвале мы поставим стул и дадим ему одеяло, так что здоровье его не пострадает и никто нас ни в чем не упрекнет. Герр Штейнфельд, вам придется забрать тело бедной Анхен...

– Нельзя забирать тело с лестницы, квартальный надзиратель должен видеть, как произошло убийство! – сразу возразил кто-то из толпы.

– Мы все видели, как лежала Анхен, мы ему расскажем! – пообещал герр Штейнфельд. – Я не могу допустить, чтобы моя родственница лежала мертвой на лестнице в таком непристойном виде!

– Квартального надзирателя надобно вызвать спозаранку, и мы все пойдем в свидетели! – так наставляли соседи герра Шмидта и герра Штейнфельда. – Надо дать ему денег, чтобы он поскорее покончил с этим делом и позволил похоронить Анхен. Бедный герр Штейнфельд, бедная Эмилия, бедная Доротея, еще не успев опомниться от смерти Катринхен, должны вы хоронить еще одно невинное создание! Квартальный надзиратель недолго будет искать убийцу!

Спорить с этими людьми было бесполезно. Я смирился и позволил препроводить себя в подвал, искренне надеясь, что квартальный надзиратель разберется, что к чему.

В подвале у меня был сосед – имени не припомню, слуга герра Шмидта. Жил он там на законном основании: будучи беглым латышским крепостным и сумевши добраться до Риги и поступить в услужение, он права на иное жилье не имел. Да и это его положение можно было счесть счастьем, уже его дети, если бы он их завел, могли стать рижскими обывателями, а жестокий помещик, им покинутый, вовеки не добился бы его возвращения. Постелью ему служили две охапки соломы, заправленные в холщовый мешок, укрывался он преогромным облезлым тулупом.

Добрый герр Шмидт, пусть и был сердит, дал мне два одеяла и даже знаменитый рижский бутерброд с коровьим маслом и нарезанной кружками копченой колбаской. Стул приставили к той самой знаменитой стене, что осталась от допотопных рижских укреплений.

Сосед мой, весьма недовольный, постарался поскорее лечь спать. Вставать ему приходилось очень рано. Он не имел никакого желания со мной беседовать, как равным образом и я. Тем более что на его наречии я знал хорошо если сотню слов, а он по-немецки – и того меньше.

Мне уже доводилось спать сидя, так что я, хотя и полагал бодрствовать до утра, оплакивая бедную Анхен, все же заснул.

Последняя моя мысль была о Натали.

Глава четвертая

Дай Бог здоровья соседу моему – проснувшись спозаранку, он зажег какую-то лучину и увидел, что я опасно накренился на своем стуле. Пока он пытался выровнять меня, я проснулся.

Данный мне герром Шмидтом бутерброд я есть не стал, а положил в маленькую нишу, обнаруженную в стене. Из чувства благодарности я предложил слуге разделить со мной трапезу, но он с испугом отказался. Бутерброд являлся лакомством господским, а слуг кормили куда как проще, кашей и горохом, а из рыбы – салакой, селедками и дешевой лососиной, которой на рынках было предостаточно.

Слуга выбрался из погреба, а вскоре вывели и меня.

Когда меня, отсыревшего и зевающего, привели на допрос, квартальный надзиратель герр Блюмштейн сидел в гостиной герра Шмидта со сладким кренделем в руке, а фрау Шмидт наливала ему горячий и крепкий кофе.

Уже по одному тому, что меня кофеем не угостили, стало понятно, что подозревают ни на шутку.

Квартальный надзиратель был упитанный и несколько угрюмый немец лет сорока с небольшим, с тяжелым и малоподвижным лицом. Судя по взглядам и суете фрау Шмидт, ей он представлялся писанным красавцем. Облик и поведение герра Блюмштейна совершенно соответствовали не только городу, но даже части и кварталу, в котором он служил.

Рига, а точнее – Рижская крепость, которую я попросту называю Ригой, вытянулась вдоль Двины, а на части и кварталы делилась поперек. Границей между первой и второй частью служила Известковая улица. Каждая из частей делилась, как полагается, на два квартала. Сам я жил в первом квартале второй части.

Как во всяком городе, у нас тут водилась своя аристократия, для которой имели значение и улицы, на которых положено ей проживать, и даже, сдается мне, стороны этих улиц. Оба квартала первой части, расположенной к северу от Известковой улицы, как раз считались аристократическими, там проживали дворяне и высокопоставленные чиновники (ведь в первую часть входил Рижский замок, там же на Яковлевской улице располагалось Дворянское собрание), а также самые богатые купцы. Оттого публика на улицах была почище, и даже полицейские гляделись статными молодцами.

А вторая часть, к югу от Известковой улицы, имела ранг пониже, особенно второй ее квартал, где стояли каменные амбары, вместо Рижского замка у нас тут были главным образом склады и богадельни, и квартальный надзиратель герр Блюмштейн просто не мог выглядеть таким же франтом, как в первой части.

Блистать манерами в его обязанности также не входило.

Меня прямо спросили, заколол ли я длинным ножом фрау Анну Либман, и я отвечал, что не убивал ее, да и длинного ножа у меня нет, что всякий может подтвердить. Затем квартальный надзиратель спросил меня, как я провел вчерашний вечер. Я отвечал, что, придя со службы, отправился на прогулку и вернулся поздно вечером, когда стемнело. Далее его интересовало, как я обнаружил мертвое тело. Я и это ему рассказал со всеми подробностями, которые считал значительными.

Задавая эти вопросы, герр Блюмштейн держал кофейную чашку в руках, и по одному тому, как его толстые волосатые пальцы поставили ее на белоснежную скатерть, я понял, что сейчас начнется нечто весьма неприятное.

– Есть ли люди, которые подтвердят, что герр Морозов прогуливался по городу? – спросил квартальный надзиратель.

– Я никого из знакомых не встретил, но меня многие соседи знают и, если видели, то подтвердят, – отвечал я.

– Как можно гулять, не раскланиваясь со знакомцами своими?

– Я размышлял.

– Это плохо, герр Морозов. Почтенная фрау Шмидт убеждена, что вы, вернувшись со службы, из дому более не выходили.

Бюргерша, стоявшая возле стола, дважды кивнула с большим достоинством. Ее губы, обычно изображавшие широкую улыбку, были скорбно поджаты, а в руке имелся наготове платочек на случай, если речь опять зайдет о бедной Анхен и правила хорошего рижского тона потребуют промокнуть уголки глаз. На самом деле она соседку не любила – как может не любить завистливая от природы пожилая дама, еле сбывшая замуж двух некрасивых дочек, молодую и хорошенькую женщину, да еще и уличенную в тайной связи с постояльцем.

Эта новость сильно меня озадачила. Подумав несколько, я вспомнил, как было дело.

– Я после службы пришел и поднялся наверх за книгами. Фрау Шмидт видела, как я поднимался, и мы друг друга приветствовали. Она стояла у дверей с соседкой, фрау Адлер.

– Это верно, – вставила моя квартирная хозяйка. – Фрау Адлер также видела молодого человека. И она подтвердит, что он явился в седьмом часу вечера.

– Взяв книги, я спустился вниз, но никого у двери уже не застал, – продолжал я. – Дверь была открыта, и я вышел.

– Очень плохо, герр Морозов, – честно сказал квартальный надзиратель. – Очень, очень плохо. Никто не видел, как вы изволили выйти из дома. Стало быть, вы остались в своей комнате, куда к вам пришла фрау Либман.

Логика герра Блюмштейна меня потрясла. Я даже не нашелся, что ответить.

– И вы громко ссорились с фрау Либман. Фрау Шмидт слышала ваши голоса.

– Да, фрау Либман и я громко разговаривали, но это не было ссорой, – возразил я, уже зная, что соседи могли наплести полицейскому чиновнику. – У нас были особого рода отношения... и фрау Либман показалось, что я обратил внимание на другую женщину... Но она ошиблась. И я, не желая продолжать этот разговор, взял книги и ушел.

– Но вас никто не видел уходящим.

– Я в том не виноват. Послушайте, герр Блюмштейн, вам бы лучше расспросить женщин в доме герра Штейнфельда! Они непременно видели фрау Анну вечером, после моего ухода!

– Это хорошая мысль. Что вам было известно о сватовстве Карла Шнитке к фрау Либман?

– Решительно ничего.

– То есть вы не были возмущены тем, что фрау Либман хочет выйти за муж за герра Шнитке?

– Я был бы только рад, если бы такая приятная и достойная фрау вступила в законный брак! – отрубил я. – А теперь могу ли я позавтракать и уйти на службу? Мой прямой начальник вице-адмирал Шешуков будет очень недоволен, не найдя меня в канцелярии.

– Ступайте, – подумав, разрешил квартальный надзиратель. – Но знайте, что я еще буду беседовать с вами об этом деле, герр Морозов, и не пытайтесь скрыться.

– Я сам хочу, чтобы это дело поскорее прояснилось, – отвечал я, и тем допрос закончился.

Фрау Шмидт, не глядя на меня, предложила герру Блюмштейну еще сладких сухариков к кофею, а я пошел к себе в комнату, куда по условию нашего с ней уговора мне должны были подать завтрак.

По дороге в порт я немилосердно костерил добродетельных бюргеров, заставивших меня провести ночь в сыром погребе.

Уже на Замковой улице я вдруг обернулся.

Квартальный надзиратель сопровождал меня, даже не пытаясь это скрывать. Он шествовал за мной сажень в двух, не более. Мне оставалось лишь ускорить шаг и пересечь Замковую площадь едва ли не бегом. На Цитадельном мостике я обернулся. Герр Блюмштейн остался возле замковых конюшен – сопровождать меня до самого порта он не стал.

Я пошел медленнее – и только теперь осознал всю сложность своего положения в полной мере.

Квартальный надзиратель, расспросив семейство Штейнфельдов, может догадаться, кто и почему убил бедную Анхен (тут память моя достала из своих сундуков и показала ее лучший портрет, с золотящимися кудряшками; волосы Анхен имели именно такой цвет от природы и вились сами, без папильоток). Тогда он перестанет меня преследовать. Но может и не догадаться. В самом деле, мог ли быть враг у молодой, несколько легкомысленной женщины? Последние два года она постоянно меня навещала, и если бы в ее прошлом имелся ревнивый злодей, он бы уж давно дал о себе знать.

В чем и перед кем провинилась моя Анхен, которая не желала ни богатств, ни славы, а просила у Бога лишь немного любви флотского офицера и потом – немного любви почтенного бюргера, чтобы родить детей и найти счастье в материнстве? Она не раз говорила мне о будущих детях, эти младенцы стояли между нами непреодолимой преградой: стать моей женой Анхен не могла, а рожать незаконное дитя не желала, да и я тоже не стремился поскорее стать отцом.

Впрочем, она ведь хотела просить у меня совета. Что-то случилось – а я, занятый мыслями о Натали, даже не прислушался к Анхен.

Я обозвал себя дубиной стоеросовой и, уже подходя к порту, додумался до неприятной вещи: если герр Блюмштейн не догадается, кто убил Анхен, то начнет докапываться, где и как я провел вечер. Если бы я не сказал ему о своей прогулке и о книгах! Я мог бы заявить, что сидел в своей комнате и преспокойно читал, а потом, услышав шум на лестнице, увидел упавшую Анхен и убегающего убийцу! Теперь же я выставил себя в самом дурном свете – прогулка с книгами подмышкой в поисках лавочки под деревом посреди переполненной людьми и скотом Риги выглядела совершенно несуразно.

В порту мне сразу же рассказали новости. Левизу удалось вывести немалую часть отряда. Он возвращался к Риге, а пруссаки висели у него на плечах.

– Я спорить готов, что наш гениальный комендант не отдал приказа разобрать наплавной мост сразу после того, как Федор Федорович проведет по нему пехоту и проскачет последний казак. Тришка, где треуголка моя? – Николай Иванович решил сам навестить фон Эссена в Рижском замке, благо идти было недалеко. – Морозов, ты пойдешь со мной, прочитаешь мне донесения внятно и вразумительно.

Предполагалось, что я, читая глазами по-немецки, произносить буду по-русски.

Я рассчитывал по дороге рассказать Шешукову о случившейся со мной неприятности, но за вице-адмиралом увязалось немало народу со своими заботами и вопросами. Наши шесть канонерских лодок и прочие мелкие суда находились в боевой готовности, но, чтобы выводить их и выстраивать живой стеной вдоль Двины, требовался приказ Шешукова, приказа же пока быть не могло – он знал о положении дел слишком мало.

Дела же обстояли прескверно. В замке мы узнали о потерях – шесть сотен убитых, да три сотни попали в плен. Фон Эссен не желал слушать упреков, на все у него был один ответ: пушек-де у Граверта и Клейста втрое больше.

Следующее, чего нам следовало ожидать, – это появление вражеских разъездов на левом берегу Двины. Там у нас были укрепления, но оборонять их с новобранцами фон Эссен не решился. Именно это мы обсуждали со штабными офицерами, пока начальство за закрытыми дверями ругалось и искало выход из положения.

– Черт возьми! – воскликнул я. – Если пруссаки, никем не остановленные, подойдут к самому берегу и сумеют поставить там свои батареи, Рига пропала! Город не выдержит настоящего обстрела!

Что такое пушки, я знал не по рассказам. Я был в сражении у Дарданелл, я был в сражении у Афона, я видел, как далеко летит пушечное ядро и какие разрушения оно производит.

– Как будто у нас пушек нет! – возразил мне приятель мой, адъютант полковника Третьякова, начальника Рижского артиллерийского округа, по фамилии, кажется, Смирнов. – Свесны стоят на новых лафетах и платформах, тяжелые – на главном валу, легкие – на рavelинах. Да вот хоть на бастионе Хорна!

Этот бастион, примыкавший к Рижскому замку, был один из четырех, глядевших на реку. И мы поспешили туда – причем с необъяснимой радостью и азартом, как будто наше присутствие на бастионе обеспечивало городу непробиваемую защиту. Очевидно, мы просто не могли больше находиться в помещении, меня, во всяком случае, штабная обстановка просто раздражала.

Из рук в руки переходил бинокль – мы старались высмотреть, не покажутся ли вдалеке казаки Левиза. Но взоры наши упирались в здания Митавского предместья. Вдруг Смирнов закричал: он высмотрел, как из-за угла появляется колонна пехотинцев.

Левиз-оф-Менар и его офицеры замыкали отступающий отряд.

– Брошу все к чертям, переведусь к Левизу! – услышал я за спиной. – Один он только и есть у нас настоящий командир!

Колонна приближалась к наплавному мосту. Несколько всадников промчались вдоль нее, подбадривая солдат. И на мост наши пехотинцы взошли, чеканя шаг, ровным строем, как если бы возвращались с победой. Мост слегка колыхался, и мелкие волны, гонимые от устья, били в почерневшие торцы бревен. Лица солдат были грязны и суровы, это были уже лица видевших смерть воинов – хотя самому старшему из солдат я не дал бы более двадцати пяти лет. С нашей стороны к мосту уже катили повозки – чтобы принять раненых и тотчас везти их в лазарет.

Я вспомнил о начальстве своем и побежал в замок, искать Шешукова. Обнаружил я его уже в Северном дворе. Он был сердит, как и всегда после разговоров с фон Эссеном.

– Где тебя черти носят! – напустился он на меня. – Беги скорее в порт, у тебя ноги длинные, голова легкая! Прикажи найти старшину перевозчиков! Чтоб к моему приходу стоял у двери! Мост разбирать пора, выдвигать лодки – принимать тех, кто застрял в дороге!

Мы вышли на Замковую площадь и почти одновременно с нами на ней появились всадники – Левиз-оф-Менар со своими офицерами. Они торопились к замковым воротам.

– Федор Федорович! – закричал Шешуков. – Что там, как там?

– Неприятель в пятнадцати верстах от Двины! – отвечал Левиз-оф-Менар. – Ночью, того гляди, подойдет вплотную! Потом поговорим, Николай Иванович, потом!

Его гнедой конь держал морду чуть ли не у колен – так устал за эти несколько суток, но командир держался в седле прямо, даже чуть более прямо, чем полагалось бы на марше, не желал уронить своей шотландской гордости. Так он и въехал под высокую арку замковых ворот.

– Господи Иисусе, дождались... – пробормотал вице-адмирал. – А ты чего стоишь, Морозов?!

Я побежал к Цитадельному мостику.

День был столь заполнен новостями, что я просто-напросто забыл о бедной Анхен. Кабы не война, я непременно сидел бы один в своей комнате, вспоминая все хорошее, что было с ней связано, тоскуя и сокрушаясь, статочно, пролил бы немало слез – я не утратил способности плакать и знал это про себя. Пишу это не затем, чтобы оправдаться. Всякий, побывавший на войне, поймет меня и без таких объяснений.

Были посланы люди в Митавское предместье, на левый берег Двины, чтобы поторопить обывателей перебираться в крепость. Потом весь вечер разбирали мост и отгоняли плоты выше по течению, туда, где обычно причаливали приходившие из верховой Двины струги. Там их вытаскивали на берег.

У левого берега стояли лодки перевозчиков на случай, если вернется еще кто-то из отряда Левиза или же какой-нибудь растяпа-обыватель не успеет уйти вовремя через мост. Наконец Митавское предместье подожгли.

Лето выдалось сухое, а на левом берегу стояли еще и большие склады мачтового и корабельного леса, вот все это и запылало с поразительной силой и быстротой. Мы в порту смотрели на этот пожар молча и молились в душе, чтобы Господь уберег от огня правобережные предместья и саму крепость. Вскоре левый берег сделался пустынен – никто уж не мог подкрасться к реке незаметно.

Тогда только я отправился домой.

Идя по Заковой улице, я едва не свернул на Большую Песочную. Меня неодолимо влекло к Натали. И пусть мысли мои были об Анхен, пусть обстоятельства ее смерти и допрос, произведенный квартальным надзирателем, требовали размышлений, – я невольно стремился туда, где Натали, как ручеек пролитой воды находит на наклонной доске единственное подходящее ему русло.

А между тем я не имел права появляться у своей невесты – за мной могли следить, да и не только, меня могли случайно увидеть входящим в дом булочника Бергера люди, которые догадаются рассказать об этом квартальному надзирателю Блюмштейну, те же соседи с Малярной улицы, к примеру. Но я должен был как-то предупредить ее о своих неприятностях, чтобы Луиза нашла другое жилье. Как его искать, когда каждый угол в Риге занят беженцами, я понятия не имел. И способа предупредить беглянок тоже не находил.

Войдя в прихожую своего жилища, я столкнулся с фрау Шмидт.

– Вас ждет наверху герр Вейде, – сообщила она, делая обязательный неглубокий книксен.

– Кто сей господин, фрау Марта?

– Наш частный пристав, герр Морозов.

Очевидно, герра Блюмштейна сочли недостаточно ушлым, чтобы расследовать смерть Анхен, подумал я. И поднялся к себе в комнату.

Там уже горели на столе две свечи в подсвечнике, лежала раскрытая книга – судя по виду, один из тех старых московских журналов, что я раздобыл в портовой канцелярии.

Мне навстречу встал из-за стола мужчина, вид которого вселил в душу мою неосознанную тревогу. На вид ему было лет около тридцати – то есть маловато для частного пристава. Он был высок ростом – выше меня по меньшей мере на полголовы – сутуловат, с маленькой и аккуратно причесанной головой, с мелкими и незначительными чертами лица. Не знаю, смогу ли дать полное понятие о его внешности, если скажу, что голова эта казалась вырезанной из кости и надетой на длинную палку.

– Добрый вечер, герр Морозов, – негромко сказал частный пристав. – Позвольте представиться – Николаус Вейде. У меня к вам вопросы. Надеюсь, что получу на них правдивые и благоразумные ответы.

Он, вить, был из тех, что поднимаются вверх по служебной лестнице решительно и быстро, ибо ничего иного в их жизни нет – только чины и труд, труд и чины. Сам я не охотник гоняться за чинами, и потому таких людей обыкновенно побаиваюсь. Да, не зная страха перед пушечными ядрами, я боялся тех, для кого я – ступенька, тех, кто поставит на меня ногу, поднимаясь вверх, даже не обеспокоившись, что там хрустнуло под жесткой подошвой.

– Охотно отвечу, потому что хочу поскорее избавиться от нелепых подозрений, – сказал я, садясь к столу. – Спрашивайте, герр Вейде.

– Как вы понимаете, я днем собрал кое-какие сведения об этом деле. Я беседовал с женщинами из семьи герра Штейнфельда. И они рассказали мне все, что знали о бедной Анхен... – тут он замолчал, внимательно на меня глядя.

– Я не намерен оправдываться, – отвечал я. – Наши с покойницей отношения называются попросту незаконным сожительством. Я ее ни к чему не принуждал, она приходила сюда добровольно.

– Катрина Бюлов тоже приходила сюда добровольно?

Я не сразу понял, о ком речь.

– Простите?

– Племянница герра Штейнфельда, дочь его сестры, которую нашли убитой четырнадцатого мая на чердаке амбара Голубя.

– Герр Вейде, эта девица сюда ни разу не приходила! Вы можете спросить фрау Шмидт, которая всегда дома и наблюдает за порядком.

– Фрау Шмидт объяснила мне уже, что к вам в комнату можно попасть двояко – с улицы и через двор, причем дверь, ведущая во двор, открывается почти бесшумно, и фрау даже не всегда слышала, как к вам приходят ваши соседки.

– Как же она может утверждать?..

– Она не слышала стука двери и шагов на лестнице, но голоса сверху до нее доносились.

“То есть ежели фрау Марта слышала неразборчивые голоса, то это означает присутствие в комнате моей Катрины Бюлов?”

– Герр Морозов, – проникновенно сказал частный пристав. – Я пришел сюда в надежде, что вы дадите разумное объяснение многим странным вещам, которые удалось мне обнаружить. Я не хотел прежде времени поднимать шум, опасный для вашей репутации, и докладывать начальству моему о поимке преступника. Согласитесь, мало приятного ждет меня в случае ошибки – ваш патрон вице-адмирал так этого не оставит. Разве не так?

– Вы правы, – согласился я. – Спрашивайте, я отвечу.

По дороге домой я заготовил весьма правдоподобное объяснение тому, что пришел после службы за книгами. Я придумал, что будто бы собирался отнести их приятелю своему по его просьбе, но совсем забыл, что приятель, казачий урядник Соколов, отправился в составе Левинова отряда проводить разведку боем. Так что мне пришлось, оставив книги в казармах Цитадели, совершить прогулку в одиночестве. С Соколовым мы и впрямь менялись порой книжками, об этом все знали, и он бы охотно подтвердил мои слова.

Но вранье мое не потребовалось – обвинение, изобретенное частным приставом, было куда страшнее смехотворных упреков в глупом блуждании по городу с книгами под мышкой.

– У Катрины Бюлов был любовник. Сами понимаете, для девицы из порядочной семьи это позор. Когда старшие женщины догадались и стали ее расспрашивать, она назвала вас, герр Морозов.

– Меня? Но это же ложь! – воскликнул я. – Уже около двух лет мы с Анной Либман...

– Женщины мне и это объяснили. Сперва, поселившись в доме герра Шмидта, вы соблазнили Катрину Бюлов, потом переметнулись к Анне Либман. Заметьте, я вас ни в чем не упрекаю, до ваших мелких грешков мне дела нет. Я просто излагаю события в их последовательности, – заметил герр Вейде. – Катрина Бюлов затаилась, но лелеяла месть. Когда стало ясно, что к ее сопернице Анне собрался посвататься богатый человек, Катрина пригрозила, что расскажет ему о грехах Анны. Анна пожаловалась вам. Замужество это много для нее значило, да и вы, как человек порядочный, хотели хорошо выдать замуж любовницу вашу. Поэтому вы, пообещав Катрине Бюлов, что дружба ваша возобновится, заманили ее в амбар Голубя и закололи.

– Складно... – помолчав, сказал я. – Весьма складно.

– Да, я сам так считаю. Пока история походов ваших получается связной. Далее – у вас начались ссоры с Анной. Возможно, вы хотели, чтобы нежная дружба продолжалась и после ее свадьбы. Возможно, была еще одна причина, более основательная. Тут я утверждать не берусь. Последняя ссора произошла вчера вечером. И вы, не сдержав ярости, убили бедную Анну. Герр Морозов, я буду рад услышать ваши опровержения.

– Все неправда, кроме того, что я соблазнил Анну Либман, – сказал я. – И никто не мог слышать нашей ссоры в тот вечер по той причине, что мы не ссорились. Я пошел прочь, а она вернулась домой.

– Ее весь вечер не было дома, – возразил Вейде. – Мне это подтвердили родственницы. Надо полагать, она все же была у вас.

Эти слова прозвучали столь весомо, что я даже поверил частному приставу. В голову мне пришла странная мысль, что, если Анхен наловчилась открывать дверь моей комнаты? Она действительно, не желая объяснять родственницам причин своего дурного настроения, могла прийти ко мне и преспокойно сидеть у окошка с рукодельем, дожидаясь моего возвращения. Но доказать это совершенно невозможно. Потому я перешел в наступление на частного пристава уже на другом фланге:

– Помилуйте, какой резон был бы мне убивать ее дома, если я присмотрел столь подходящее место, как амбар Голубя, к которому обыкновенно и близко не подхожу?

– Очевидно, все же подходите. Я посылал туда своих людей. В день после убийства вас видели бродящим у амбара Голубя, – сказал он.

– Не я один любопытствовал поглядеть на место, где свершилось преступление.

– Откуда же вы знали о преступлении?

– Мне сказала Анна Либман.

– Которая мертва и не может подтвердить слов ваших.

– Это правда.

– Правда и то, что преступника всегда манит на место его злодеяния.

Тут я не нашелся, что ответить и лишь развел руками.

– Я бы поверил в прогулку ради любопытства, герр Морозов, но вспомните, о чем вы расспрашивали прохожих и работников, разгружавших фуру с провиантом.

– Я расспрашивал работников?

– И прохожих. Мои люди выяснили это совершенно точно. Вы пытались вызнать у них, не найдены ли рядом с телом улики, позволяющие полиции напасть на след убийцы.

– Я расспрашивал про улики? – переспросил я в полнейшей растерянности.

Вдруг я понял – это обычная полицейская провокация, чтобы загнать меня в угол.

– Да, и пытались также узнать, когда и кем найдено тело. Вас опознали не только по мундиру вашему, а также по русской речи.

– Дешевые кундштюки, герр Вейде! – воскликнул я. – Достойные балагана, что стоит за эспланадой! Никто не мог вам этого сообщить, поскольку я никого не расспрашивал!

– Увы, такой человек есть, и его показания уже записаны нашими канцеляристами, – печально произнес герр Вейде. – Коли угодно, я вам их покажу.

– Они еще не доказывают моей причастности к убийству. Многие почтенные горожане приходили узнать подробности – не так часто случается в Риге столь жестокое убийство! У вас нет никаких доказательств! – я начал горячиться. – И заколоть Анхен Либман, к которой я был искренне привязан, я не мог!

– Я ведь говорил, что для убийства фрау Либман у вас была и более основательная причина, чем ревность. Коли угодно, я назову ее, – и тут частный пристав непонятно откуда добыл небольшой пистолет и наставил на меня. – Вы уж простите, но я произвел в комнате вашей тщательный обыск.

Я был как можно более аккуратен и все имущество ваше расположил в прежнем порядке. Но в теплом сюртуке, что висит под простыней, я обнаружил спрятанные драгоценности на немалую сумму. Я показал их герру Штейнфельду, и он их опознал. Эти драгоценности были украдены у него, но он не знал, кто из домашних постарался, и подозревал одного из подмастерьев своих. Теперь же ясно, что сделала это Анна...

– Ложь! Низкая, подлая ложь! – закричал я, поняв, что попал в страшную ловушку.

– Не кричите, герр Морозов. Если вы можете объяснить все это так, чтобы я поверил в вашу невиновность, то объясняйте, – холодно сказал полицейский, целясь мне в грудь. – Если же нет – эту ночь вы проведете в полиции, в особом помещении, и далее, поскольку вы на службе, судьбу вашу будут решать господин обер-полицмейстер и господин комендант.

Говорите же! Я сделал для вас все, что мог, я дал вам возможность оправдаться без того, чтобы докладывать об этой истории начальству вашему.

Я мысленно проклял ювелира. Видя, что все грехи падают на мою голову, он решил пожить на моем несчастье.

– Итак, я жду объяснений, – преспокойно произнес герр Вейде. – С чего вам угодно будет начать? Может быть, для вашего удобства, начнем с драгоценностей? Как они к вам попали и почему находились в столь неподходящем месте?

– Насчет места – неужто вам непонятно? Фрау Шмидт, делая в моей комнате приборку, всюду сует свой нос, и у нее есть ключ от комода. Это разумная предосторожность, прятать дорогие безделушки. А что до них – думаю, герр Штейнфельд непременно сказал, будто их взяла Анна Либман и отдала мне, потому что я сумел ее разжалобить.

– Да, примерно так он и выразился.

– Но нет ли в этом нелепицы? – спросил я. – Допустим, Анна отдала мне эти вещицы. Это свидетельствовало бы о ее страстной любви ко мне. Но тогда она вовеки не согласилась бы выйти замуж за богатого бюргера – как, бишь, его звали?

– Его звали Карл Шнитке, он состоит в цехе портных, как и отец его, и дед. Лучшей партии вдовая фрау и вообразить бы не сумела.

– Я не представляю, для чего она могла бы отдать мне украденные у своего свояка драгоценности.

– Фрау Либман жила в доме герра Штейнфельда из милости и своих денег почти не имела. Ей было бы стыдно выходить замуж с пустыми руками. Она просила вас продать эти вещицы как бы от себя, – тут же объяснил мне эту интригу частный пристав. – А теперь я хотел бы знать ваше мнение.

– Мое мнение таково – герр Штейнфельд врет. Он к этим драгоценностям никакого отношения не имеет.

– Хорошо, ваше слово – против его слова. Кто из друзей ваших подтвердит, что видел у вас эти вещицы до того, как вы сошлись с фрау Либман?

– Никто не подтвердит. Но у меня есть мысль! – я встал и достал из комода миниатюру, которую вынул из медальона, но забыл отдать Луизе. – Герр Вейде, пусть герр Штейнфельд скажет, какой портрет находился в украденном у него медальоне! Вот он, я сжимаю его в кулаке. Вы ведь обратили внимание, обнаружив драгоценности, что в медальоне нет портрета?

– Дайте сюда портрет! – приказал частный пристав.

Я по природе доверчив, но тут вся подлость натуры человеческой предстала предо мной наяву.

Это сговор! Если бы Вейде был честен передо мной, он оставил бы портрет мне, даже не попытавшись на него взглянуть. Сейчас же он протянул руку. Нетрудно вообразить себе и дальнейшее – он перескажет приятелю своему Штейнфельду, что изображено на миниатюре, и у них будет одной уликой более. И частный пристав, раскрыв разом нынешнее и давнее преступление, удостоится похвал и наград!

А кто удобнее на роль убийцы, чем человек, чужой в городе? Конечно же Шешуков постарается меня выручить – но он ведь может и поверить уликам!

К счастью, при мне был кортик – какое ни есть, а оружие. Я заметил, что вооруженный мужчина рассуждает совсем не так, как безоружный, и клинок, даже короткий, придает особую уверенность в себе.

Эти кортики, которые навязало нам Морское министерство лет десять назад, напоминали скорее детскую игрушку. Длинной они не более девяти вершков вместе с рукоятью из слоновой кости – судите сами, хорошо ли они были против кривых и длинных турецких сабель. Кортики наши имели, впрочем, перед ними одно неоспоримое преимущество: они не стесняли передвижений в тесных каютах, кубриках и в узких коридорах, не мешали при скором спуске по трапу.

Однако семь вершков лезвия – это не для боя, и даже портупей, украшенные позолоченными львиными мордами, нас не радовали, малые дети мы, что ли, которым нужны такие забавы?

Очевидно, мысль моя была уловлена хитрым Вейде, но не сразу – сперва он понял, что я не собираюсь отдавать ему портрет, а затем, переходя в наступление, выложил свой главный козырь:

– А кстати о длинном клинке, которым были заколоты обе женщины, – нельзя ли взглянуть на ваш кортик, герр Морозов?

Я несколько мгновений смотрел на него в недоумении – он полагал, будто я совершил эти злодеяния офицерским кортиком? И вдруг я понял, что оружие мое действительно очень подходит для короткого и проникающего вглубь, до самого сердца, удара.

Но это было оружие морского офицера, побывавшее в бою вместе со мной, и я не мог допустить, чтобы рука частного пристава, замаранная подачками и явной взяткой хитреца Штейнфельда, прикоснулась к нему.

– Извольте! – сказал я, перекладывая миниатюру в левую руку, правой берясь за рукоять, и далее действовал по наитию.

Я сделал шаг вперед, словно бы и впрямь желая отдать Вейде оружие мое, одновременно потянул кортик из ножен и получил возможность кулаком, в котором был зажат эфес, и предплечьем резко и сильно ударить частного пристава в бок. Можно сказать, всю душу вложил в этот удар, он же не ждал подвоха, отлетел в сторону, и путь из комнаты моей оказался свободен.

Я сбегал по узкой лестнице не менее быстро, чем носился по трапам «Твердого» и выскочил на Малярную улицу. Вейде, разумеется, погнался за мной, но я был моложе и быстрее. К тому же я знал, куда бежать, – к кварталам каменных амбаров, где очень легко запутать след.

Мне удалось оторваться от моего преследователя, и я, убедившись, что в ближайшие часы ничто мне не угрожает, пошел шагом, обдумывая свое нелепое положение. И чем дальше я уходил от Малярной улицы, тем больше возникало в голове моей доводов в пользу бегства.

Если б Вейде всерьез за меня взялся, ему удалось бы разозлить меня, – я не вспыльчив, однако и не кроток, так что мог бы сгоряча брякнуть лишнее. Всплыли бы загадочные книги, которые я неведомо куда уволок, началось бы разбирательство – где же я провел время после ссоры с Анхен – и частный пристав, ухватившись за какую-нибудь мою обмолвку, мог докопаться до Натали и Луизы.

Это сразу в какой-то мере оправдало бы меня – явилась бы на свет причина ссоры моей с покойной Анхен, явилось бы и то, как ко мне попали драгоценности. Но именно такого исхода я никак не мог допустить. Разоблачение Натали погубило бы ее в глазах света, да еще она оказалась бы впутана в дело о двух убийствах. Следовало выкарабкаться так, чтобы о моей невесте никто и никогда не узнал.

Я решил, что ранним утром проберусь в Цитадель, а оттуда в порт, проникну к Николаю Ивановичу и покаюсь ему во всех своих грехах. Он любит меня и непременно что-то придумает. Ему я, пожалуй, скажу всю правду – пожурит да и простит, сам ведь был молод, а губить честь женщины для офицера – последнее дело...

Следовало позаботиться о ночлеге.

Ночи были теплые, и даже усевшись на каменную скамью, я чувствовал бы себя лучше, чем в погребке герра Шмидта под одеялами. В случае, если ко мне привяжутся мазурики, я отогнал бы их кортиком. Но все-таки хотелось бы переночевать под крышей, и я остановился посреди узкой улицы в глубокой задумчивости. Я чувствовал, что такая возможность есть – и она действительно вскоре явилась.

Глава пятая

Я оказался за реформатской церковью, среди амбаров. Там жили обыватели-айнвонеры – по сути, те же добропорядочные немцы, но только или недавно перебравшиеся в Ригу и не имеющие дедушки-рижанина, или происходящие от незаконного сожительства. Сейчас именно тут теснились беженцы.

Положение этих беженцев было незавидно – они знали, что Московское предместье в случае наступления неприятеля решено сжечь, но фон Эссен колебался, и бедняги то прибегали с узлами и коробьями под защиту рижских стен, то возвращались обратно. При этом в городе ночевали и те, кто не имел такого права в мирное время.

Эта суматоха непонятным мне образом возбудила в людях самые низкие страсти. Мужчины, не знающие, где проведут следующую ночь, сторающие от беспокойства за свою судьбу, почему-то делались легкой добычей жриц любви, которые перебежали сюда из Ластадии и ютились чуть ли не по десять нимф в одной комнатухе. Так что, пока две-три красотки принимали там кавалеров, остальные шатались по улицам, хватая проходящих за руки и уговаривая пойти с собой. Впотьмах они могли перепугать своими приставаниями до полусмерти.

К счастью, наши жрицы любви были дамы образованные – знали не только по-немецки, но и по-английски, и по-русски. Поэтому мои резкие слова поняли сразу и единственно верным образом.

Они-то и навели меня на мысль понаблюдать, куда ведут и откуда выпускают кавалеров. Оказалось, что иная прелестница согласна расположиться и на мешках в амбаре. Я в свете фонаря увидел большие дубовые ворота приоткрытыми и, недолго думая, вошел.

Внутри было не совсем темно – где-то горела свечка. Сложенные стеной мешки подступали к самому входу, я заметил дорожку меж ними, откуда шел свет, раздавался смех, и здраво рассудил, что здешний сторож, очевидно, выгородил себе нору, где устроил ложе и даже, возможно, сдает его за небольшое вознаграждение. Забавно, подумал я, как простой люд извлекает выгоду из войны и осады города. Не только каждый чердак и подвал – каждый угол в тесном дворе приносит, возможно, прибыль, потому что в нем сложено имущество беженцев и мужчины спят поверх узлов, охраняя их.

Я прошел дальше, достиг стены и едва не рухнул в другой проход. Там бы я и остался сидеть, пристроившись на туго набитом мешке, возможно, даже задремал бы, но тут разумная мысль посетила меня: хотя грузы и поднимали лебедкой на верхние ярусы каменного амбара, но где-то же должна быть и лестница, вряд ли ее намертво заложили мешками с провиантом и фуражом.

Лестницу я нашел и полез во мрак, размышляя, какой именно провиант хранится в мешках и лубяных коробах. Во время плавания я пристрастился к ржаным сухарям, и если бы удалось их тут раздобыть, они составили бы мой ужин. По милости герра Вейде сладких блинчиков фрау Шмидт мне сегодня не досталось. Лестница с веревочными перилами казалась мне бесконечной, и лишь упершись головой в крутой скат, я понял, что впотьмах благополучно миновал дверцы, ведущие на ярусы амбара и поднялся под самую крышу.

Пошарив по стене, я отыскал дверцу и оказался в помещении, более всего напоминавшем шалаш, наподобие тех, в которых я еще ребенком прятался вместе с дворовыми ребятишками; мы мастерили их из палок и старых рогож на заднем дворе. Оно было сравнительно широким и долгим, во всю длину гребня крыши. Туда и свет проникал. Удивительным образом тех лучей, что просачивались сквозь щели деревянных ставен, хватало, чтобы произвести дислокацию.

К некоторому моему удивлению, я обнаружил под самым скатом, близ окошка, сенник – так у нас называли мешок из грубого холста, набитый сеном и служивший вместо тюфяка. Если сено свежее и ароматное, то это даже приятно. Но в этом грязноватом мешке сено оказалось

старое, свалывшееся. Выбирать не приходилось, я лег, даже не разуваясь, и тут меня ждал еще один сюрприз – между сенником и скатом крыши было спрятано сложенное в длину одеяло. Положительно, каморки эта служила чьим-то жилищем, но хозяин припозднился, и я решил, что при его появлении уж как-нибудь договорюсь.

Теперь следовало позаботиться о миниатюре из медальона Луизы. Я очень не хотел ее повредить, поэтому завернул в платок и спрятал в высокую офицерскую двууголку.

Устроившись поудобнее, я помолился на ночь, как учили матушка с няней, и довольно скоро заснул. Сказывалась дурно проведенная в подвале ночь.

Но перед сном я еще успел побороться с собой и запретить себе думать про обиды. Хотя мысли эти меня порядком одолевали.

Люди, с которыми я прожил под одной крышей почти три года и полагал, что нажил себе в них добрых приятелей, оказались враждебны мне, причем враждебны исподтишка. Фрау Шмидт ни разу не сказала мне, что наши с Анхен голоса ее раздражают, она даже не намекнула, что ее немецкая нравственность страдает от моего романа, но стоило мне попасть в беду – она тут же все припомнила. Равным образом соседи тут же ополчились на меня, хотя все это время были беспредельно любезны. Герр Штейнфельд водил меня в «Лавровый венок» и угощал пивом с колбасками...

Теперь только я понял, до какой степени чужой этому городу, чужой невзирая на то, что хорошо говорю по-немецки и даже читаю в подлиннике Бюргера и Шиллера. Очевидно, нужно было не валять дурака, поселившись на Малярной улице, а искать себе уголок в Цитадели. Там мне никто бы не стал приносить по утрам горячий кофе со свежими крендельками – да никто бы и не налгал на меня сперва квартальному надзирателю Блюмштейну, потом частному приставу Вейде.

Но я, выбирая Малярную улицу, тем и руководствовался, что не желал быть среди своих. Во мне опять-таки говорила обида, как и во многих участниках сенявинского похода, да еще другая обида – на мою Натали. Я не хотел, чтобы меня каждый вечер легко отыскивали гарнизонные офицеры, заманивая длительной, на всю ночь, игрой в фараон и вином, да еще и несли при этом чушь. Я и обычного биллиарда не желал. А желал я одиночества, которое в силу характера переносил легко и находил в нем свои приятные стороны.

Вот и нажил неприятностей на свою голову...

Мне снился сон, столь похожий на действительность, что я ощущал на щеках брызги ледяной воды.

Я стоял на палубе небольшого суденышка, которое в самую дурную погоду шло по волнам Финского залива. Ветер задувал сбоку, срывая с плеч тяжелый плащ, в который мне никак не удавалось завернуться толком. Лицо мое было мокрым, водяные струйки затекали за пазуху. Двууголку свою я придерживал рукой и, жмурясь, смотрел вдаль.

Буро-серые волны колыхались, движения я не ощущал – ни сзади, ни спереди не виднелось ничего, что послужило бы ориентиром. Я следил бы за облаками – но небо было ровного блеклого цвета. Понемногу оно светлело – и вода также менялась, теперь она отливала бирюзой. Я сильно беспокоился – я уходил от некой погони, которая во сне имела смысл, своих героев и свои особенности, но наяву все это развеялось, и в памяти остался только дождь над Финским заливом.

– Роченсальм, Роченсальм! – звал я, словно надеясь голосом приблизить его неприступные форты – Елизаветинский, Екатерининский, Слава... Там я нашел бы спасение!

И вдаль возникло в тумане темное пятно – это несомненно были стены из камня. На их фоне я заметил белое пятнышко, оно росло – к моему судну шел одномачтовый йол. Радость охватила меня, не только я приближался к Роченсальму, но и он – ко мне... и солнце, солнце пробилось, зазеленела морская вода!..

Проснулся я оттого, что кто-то стал по мне шарить. Я встрепенулся и сел, ища рукоять кортика.

– Мать честная! – услышал я на чистом русском языке.

– Ты кто таков? – задал я вполне резонный вопрос, и тоже по-русски.

– А ты кто таков?

– Я человек пришлый, искал, где бы переночевать. Вижу, ворота открыты, зашел, полез повыше.

– Ишь ты! Думал, в такое время тут пустое место найдется? Проваливай, покуда цел!

Голос показался мне знакомым, но разбираться я не стал.

– Тут двоим места хватит! – возразил я незримому русскому человеку.

– Сказано тебе – проваливай!

Доводилось мне сталкиваться с людьми, которые проявляют свой сварливый нрав лишь тогда, когда чувствуют полнейшую безнаказанность. Сперва я по молодости и незрелости характера от их выпадов терялся, но старый матрос на «Твердом» научил меня уму-разуму. Он внушил мне, что чем мягче обращаешься с подобными скотами, тем более дури забирают они себе в голову, поэтому отпор следует давать сразу и сурово.

– Сам проваливай, скотина, – отвечал я незнакомцу, и отвага моя подкреплялась тем, что я уже держался за рукоять кортика.

– А вот как заеду в ухо! – пообещал русский человек.

– А сдачи не угодно ли? – спросил я.

Драка в темноте – сомнительное удовольствие, к тому же я вовсе не желал убивать владельца сенника и одеяла.

– Да шел бы ты!.. – и русский человек бойким своим тенорком указал мне то направление, что в дамском обществе повторить невозможно.

Однако он не знал, с кем связался.

Я уже говорил об интересе своем к словесности. Во время нашей средиземноморской экспедиции я многого наслушался. В частности, было нечто вроде игры, не знаю, как назвать это иначе. Некоторые унтер-офицеры составляли себе целые монологи длительностью до пяти минут, в которых пикантные выражения ни разу не повторялись. Такая особливая жутковатая поэзия, имевшая даже некоторый смысл. У матросов часов не водится, а, допустим, спуск шлюпки на воду должен осуществляться в определенный срок – вот длительность сего поэтического экзерсиса такому периоду и соответствовала, что было весьма удобно.

Будучи вынужден постоянно слышать такие речи, я сперва смущался, потом лихой мой дядюшка Артамон, нахватавшийся всякой дряни в Кронштадте, высмеял меня – и мне пришлось заучить кое-какие перлы, чтобы и он, и племянник мой Алексей Сурков оставили меня в покое.

– Ого! – произнес незнакомец, выслушав меня. – Какого ж черта ты, соленая твоя душа, сюда забрался?

Русский человек опознал во мне моряка, и я уж решил, что мое ремесло вызвало у него хоть толику уважения. Но не тут-то было!

– Господин Морозов? – вдруг спросил русский человек. – Так вот ты где скрываешься?! Убийца! Караул!

Он так завопил, что у меня уши заложило.

Теперь уж обстоятельства были против меня. Незримый русский человек голосил, призывая всех, кто его услышит, лезть сюда, под самую крышу и вязать убийцу.

Я растерялся и выхватил из ножен кортик. Сейчас, по прошествии времени, я признаюсь откровенно – обнажил клинок я от испуга. Я уже знаю, что ничего постыдного в таком страхе нет, но несколько лет мне было стыдно за свои поспешные действия. Я не любил вспоминать ту ночь, и отталкивал от себя мысли, что наводили на неприятные воспоминания.

Впрочем, даже теперь, через полтора десятка лет, я не могу восстановить точно, как вышло, что в нашей драке я нанес крикуну удар кортиком в бок. Услышал ли я перед этим встревоженные голоса снизу, или же они дошли до моего сознания уже потом, вспомнить не удается – да и не имеет это значения. Важно иное, откатившись от раненого, я впал в совершеннейшую панику. По лестнице уже спешил какой-то басовитый детина, возглавляя, как мне с перепугу показалось, целую армию, способную связать меня и доставить в полицейскую контору.

Мало мне было тех двух убийств, которые приписали мне полицейские, так теперь явился еще и третье! И тут уж моя вина несомненна!

Стараясь оказаться подальше от своей жертвы, я отступил к окошку, забранному деревянным ставнем. Каким-то чудом я вспомнил про блок лебедки, расположенный под самым скатом крыши, и даже то, что, высунувшись в окошко, я могу достать до веревки. Распахнув ставень, я выглянул вниз и увидел, что на улице пусто.

Тут я благословил своего шалого дядюшку, который умело карабкался по вантам и преподавал мне это искусство, чтобы исцелить меня от страха высоты. Сунув кортик в ножны и нахлобучив двуголку, я захватил оба свисающих с блока конца толстой веревки, кое-как выбрался в окошко и соскользнул вниз с ловкостью, которая меня самого поразила. Высота была порядочная – около трех саженей. Хотя я после военной экспедиции должен был бы знать, на что способен человек, спасающий свою жизнь.

Коснувшись подошвами гладких округлых камней мостовой, я кинулся наутек.

Пробежав с четверть версты и сделав несколько поворотов, я перешел на шаг и попытался понять, куда это меня занесла нелегкая. Но во мраке все узкие улочки одинаковы, всюду – высокие стены и маленькие окошки каменных амбаров, и я побрел наугад. Время было, как я понял, предрассветное. Жрицы любви уgomонились наконец, и все полуночники давно уж спали. Один я шел по городу в полнейшем отчаянии.

До сих пор история моя была хоть и неприятна, хоть и страшна, но не содержала в себе ничего мистического. Меня оговорили люди, которым я не сделал ничего плохого, я сбежал от частного пристава и ударил кортиком незримого русского человека. Все это было очень плохо для меня, и изрядно взбудоражило душу. Теперь мне не доставало лишь явления нечистой силы или призрака, чтобы с полным правом лишиться рассудка.

И это случилось.

Сперва я даже не понял, откуда доносятся странные звуки. Походило на то, что глубоко под землей засело в норе чудовище и испускает особый ритмический гул. Пройдя еще немного, я осознал: это хор, но надежно укрывшийся, устроивший спевку в погребе. Наконец я понял, что именно поют эти диковинные певцы. Слов я разобрать не мог, но мелодию знал отлично.

Они исполняли марш Бонапартова войска! Под рижскими улицами, амбарами и жилищами почтенных бюргеров звучала «Марсельеза»!

Первая моя мысль была: бежать к Ратушной площади, туда, где за зданием ратуши расположена полицейская контора, рассказать о странном явлении и показать место, откуда «Марсельезу» слышно лучше всего. Когда в городе, который вот-вот окажется в осаде, звучит неприятельский марш – вряд ли это к добру.

Но вторая мысль словно бы схватила первую за шиворот и удержала на месте. Появись я в полиции – первым делом схватили бы не загадочных певцов, а меня самого.

Положение мое было незавидно. Тот, кого я ткнул в бок кортиком, мог при последнем издыхании назвать прибежавшим снизу людям мое имя. Да он и называл его довольно громко во время нашей драки. Если бы в полиции вздумали меня обыскать, то первым делом явилось бы, что кортик мой в крови, и ножны также выпачканы кровью. Я мог выбросить кортик, но оружие морского офицера, найденное в таком виде на улице, сразу же понесли бы в часть, и оно попало бы к частному приставу Вейде, моему недоброжелателю.

Дорога в полицию была закрыта, но при мысли о предательстве в рижских стенах я пришел в несвойственную мне ярость. Следовало что-то предпринять!

Мысли мне в голову приходили самые разнообразные, и самая разумная – написать письмо благодетелю моему и начальнику, вице-адмиралу Шешукову, изложив все события правдиво. Вот только боялся я, что упоминание звучащей из-под земли «Марсельезы» заставит Николая Ивановича усомниться в моем здравом рассудке. А если бы я вдобавок описал то ощущение соприкосновения с потусторонним миром, которое возникло у меня в темном переулке, Шешуков поставил бы мне диагноз не хуже санкт-петербургского профессора медицины...

Идти в порт я побаивался. Может статься, там-то меня и будут ждать с утра полицейские, если выяснится, что я заколол на чердаке неведомого склада ни в чем не повинного человека. Они решат, чего доброго, что убивать людей на чердаках – излюбленное мое занятие. Так что вся надежда на письмо.

Я даже придумал, где бы мог заняться сочинением сего послания.

В Петербургском предместье Риги, на Лазаретной улице с незапамятных времен стоял госпиталь. Мне доводилось бывать в нем сразу после возвращения моего из Англии, когда я, уже определившись в толмачи к вице-адмиралу, некоторое время хворал. Когда-то он был Георгиевским, но уже с сотню лет, как стал просто гарнизонным. Недавно его перестроили, воздвигли новый каменный корпус, и я позапрошлым летом, как его открыли, вместе со многими рижанами ходил поглядеть на здание, план коего составил знаменитый архитектор Федор Демерцов. Увидевши длинное одноэтажное здание, имевшее более трех десятков окон по фасаду, в восторг я не пришел. Прочие строения госпиталя так и были оставлены деревянными. Деревянным был и храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник», возведенный еще, кажись, при государыне Анне Иоанновне для нужд госпиталя. Храм этот в Риге очень любили, но я сам хаживал туда редко, предпочитая Алексеевскую церковь в крепости.

В госпитале я знал несколько человек, к кому мог бы обратиться за бумагой и пером. И они выдали бы мне письменные принадлежности, не задавая особых вопросов. Сейчас там явно царил суматоха – все еще привозили раненых из Левизова отряда, к тому же, и казаки, посылаемые в разъезды, возвращались порой изрядно поцарапанные. Никто бы не удивился, обнаружив в длинном коридоре госпиталя офицера из портовой канцелярии. Наверняка нашелся бы и знакомец, предполагавший после оказания помощи вернуться в крепость. Да и незнакомец бы сгодился – повторяю, город был до того невелик, что расстояние до порта от Рижского замка, тем более – от любого здания в Цитадели, составляло несколько минут пешего ходу, и считать доставку письма значительной услугой никто бы не стал.

Обдумывая все это, я шел очень медленно, а в ушах моих понемногу угасала загадочная «Марсельеза».

Хочу отметить, что, перебирая возможности, я ни разу не унизился до того, чтобы искать спасения на Песочной улице у Натали и Луизы. Что бы со мной ни случилось – это мое дело, а ставить под удар двух беззащитных женщин я не имел права. Меня могли выследить случайно – и что случилось бы с бедной Натали?

Очевидно, Господь сжалился наконец надо мной и послал мне мудрую мысль. Я решил рассказать о «Марсельезе» доброму будочнику Ивану Перфильевичу.

Поплутав немного, я выбрался на Кузнечную улицу и поспешил к ее пересечению с Известковой, откуда мог увидеть полосатую будку моего приятеля. Даже если бы дневальным в это время суток был не он, а его товарищ, бывший артиллерист Онуфриев, тоже невелика беда – и Онуфриев также меня приветствовал, когда я рано утром и вечером проходил мимо.

Мне повезло – в будке сидел Иван Перфильевич, и мне даже удалось довольно легко растолкать его.

– Ахти, господин Морозов! – воскликнул доблестный страж порядка. – А вас ведь ищут! Фриц прибегал, посыльный из части, о вас расспрашивал. Да я не выдал! Нет, говорю, ничего не знаю, ничего не замечал! Мы, флотские, должны заодно держаться.

Я подумал, что если бы он рассказал, как я минувшей ночью пытался гнаться за убийцей Анхен, может, было бы неплохо.

– Иван Перфильевич, сделай доброе дело, – сказал я. – Как сменишься с поста, дойди до части, найди ну, хоть квартального надзирателя, скажи – кто-то под каменными амбарами засел и по ночам поет «Марсельезу». Скажи – незнакомый-де господин тебе сообщил.

– Что поет? – переспросил будочник. – Каку-таку силезу?

Мне пришлось потратить несколько времени, чтобы обучить его этому слову.

– Ох, не донесу я до части, – затосковал Иван Перфильевич, – вылетит из дырявой башки...

– Ну, скажи попросту – марш, с которым Бонапартово войско ходит в атаку. А про меня молчи.

– Да вижу уж, что в беду попали... Господин Морозов, а ведь с вас причитается! – воскликнул будочник. – Я пропажу вашу подобрал!

– Какую еще пропажу?

Он торжественно вручил мне магнит, позабытый в будке прошлой ночью. Я повесил на палец подарок моего шалого дядюшки, пожелал будочнику приятных сновидений и двинулся к Карловым воротам. К утру, когда их отпирали, по обе стороны собиралось немало народу – одни жители Московского форштадта, проведя ночь за городскими стенами, хотели попасть в дома свои и собрать еще несколько узлов имущества; другие жители того же форштадта, напротив, шли с мешками и тачками в город; местные огородники везли и несли товар на продажу; из крепости доставляли на подводах смолу в бочках, деготь, скипидар, чтобы готовить дома в предместьях к сожжению. Я мог бы выйти и Известковыми воротами, но там желающих покинуть крепость или вернуться в нее было не в пример меньше: если верить обещаниям фон Эссена, огонь, пожравший в стратегических целях Митавский форштадт, угрожал только Московскому форштадту, но пока еще не Петербуржскому.

– С нами Бог и андреевский флаг! – сказал мне вслед Иван Перфильевич.

Я невольно усмехнулся. Конечно же я, как всякий офицер, крещенный в православии, знал молитвы, ходил в церковь, а за тем, чтобы мы исповедовались и причащались, следило начальство. Но, видите ли, молитва хороша перед боем, а в бою звучит именно это:

– С нами Бог и андреевский флаг!

Так утверждал мой восторженный дядюшка Артамон, увлекая меня в бегство. И его слова подтвердились в плавании по Средиземному морю. Более того – и помолившись, и получив благословение у судового батюшки, в последнюю минуту, уже спускаясь в шлюпки, чтобы с боем высадиться на побережье острова Тенедос, наши матросы восклицали, крестясь:

– С нами Бог и андреевский флаг!

И взяли ведь Тенедосскую крепость, и сделали ее нашей главной базой! Это было в марте тысяча восемьсот седьмого года. Точно то же я слышал и в мае, в ночном бою у Дарданелл, когда наши корабли, нарушив строй, прорезали линию противника и, паля с обоих бортов, показали туркам, что есть отличная боевая выучка матросов и канониров.

Помахивая магнитом, я дошел до ворот и покинул Рижскую крепость, оставшись незамеченным. После чего я, углубившись в Московское предместье, сделал немалый крюк и вышел к госпиталю.

Возможно, тут у дотошного читателя, а тем паче читательницы, возникнет вопрос: как так получилось, что я, будучи человеком возвышенных чувств, все это время почти ни разу не вспомнил о покойной Анхен? Я сам впоследствии пытался в этом разобраться со всей возможной честностью, без всякой жалости к себе. И впрямь – мы долгое время были близки, я

искренне к ней привязался, но, когда ее убили, не оплакал ее и даже, кажется, не сожалел о ее гибели так, как полагалось бы.

Я пробовал найти себе несколько оправданий.

Пока я гнался за предполагаемым убийцей и отвечал на обвинения соседей, мне было не до сожалений. Потом, в погребке, мне хватало размышлений о собственной горестной судьбе – увы, себя я тогда жалел более, чем ее. И основания для этого имелись. Потом меня отвлекло ремесло. Потом вывел из себя Вейде с его хитроумным обвинением. То есть голова моя была постоянно чем-то занята – и мысль об Анхен там уже не помещалась.

Возможно, я даже винил бедную женщину в том, что из-за ее смерти на меня свалилось столько неприятностей. Это звучит совсем не по-христиански, но чувство недовольства у меня тогда возникало, его я запомнил отчетливо. Хотя вряд ли оно могло служить оправданием.

Кроме того, я был молод и до сих пор никем и никогда в преступлениях не обвинялся. Не сойду, если скажу: меня всегда любили. Столкнувшись с тем, что есть люди, не пылающие ко мне добрыми чувствами, я и удивился, и смертельно обиделся. Возможно, это затмило ту обязательную скорбь, которую должен ощущать любовник по своей покойной любовнице.

Кажется, однако всеобъемлющего оправдания мне не существовало в природе. И лишь потом, с течением времени, я стал ловить себя на том, что, увидев девицу или даму с такими же золотистыми колечками волос, как у Анхен, я невольно поворачивался и провожал ее взглядом. Как будто в душе у меня после смерти моей бедной подруги осталось некое пустое место, и я, сам себя обманывая случайным сходством, пытался хотя бы умозрительно это место заполнить, воскресив в памяти Анхен – кокетливую и деловитую, разговорчивую и ласковую...

Идя Московским форштадтом, я видел готовые к сожжению дома, в том числе и огромный Гостиный двор. Жители с хмурыми лицами развешивали по стенам просмоленные веревочные венки, полученные от полицейских. Я наслушался ругани в адрес фон Эссена с его штабом; хотя рижские бюргеры и айнвонеры, а вместе с ними и русские купцы содрогались при мысли, что Рига будет насильственно отделена от России и тем завершатся сто два года ее процветания. Но мысль о гибели имущества, которое не удалось перевезти в крепость, всех сильно раздражала.

Участь Риги в случае победы Бонапартовой была бы незавидна. Город перешел бы либо к Польше, либо к Пруссии, существовала и другая неприятная возможность – остаться вольным городом наподобие Данцига, которому вольность вышла боком, он заплатил за нее рабством, бедностью и нуждой.

Я невольно прислушивался к речам и слышал немало разумных тактических соображений.

– Предместья можно пожечь и тогда, как войдет в них неприятель! – восклицало лицо духовного звания, коли судить по его поношенному подряснику и скуфеечке. – Тогда ему более будет причинено вреда!

– Они могли бы предоставить нам телеги, чтобы вывезти имущество из города, а также дать нам охрану, – вторил ему купчина в синей поддевке и в высоких сапогах, что было верным признаком старовера, – или же позволить все сложить в крепости, хоть бы и на малой парадной площади, поставив там сараи. Не станут же теперь проклятые немцы устраивать парады!

– А можно было на стругах отправить добро вверх по реке, сопровождая по берегу казачьей конницей, и там уж, выгрузив у Иксюля, развезти по баронским усадьбам, – советовал другой стратег, в коем я по русской речи, простой мужицкой рубашке, перехваченной тканым кушаком, широким плечам и мощным рукам опознал старого плотогона.

– А, может, обойдется? – неуверенно спросил малорослый парнишка в поддевочке, и тут же получил от купчины весомый подзатыльник – то ли за необоснованную надежду, то ли за то, что мешается в разговор старших.

Я прошел мимо, помахивая своим магнитом.

Дорога к госпиталю заняла около часа, и я вышел к нему почему-то со стороны кладбища. Там я увидел свежевыкопанные могилы и тяжело вздохнул – не всех раненых, кого привезли из-под Экау, удалось спасти.

В госпитале кипела работа, звучала главным образом немецкая речь, я несколько удивился, увидев молодые лица докторов. Потом выяснилось, что студенты Дерптского университета, обучавшиеся медицине, во главе со своим профессором Эльспером вступили в ополчение, и часть их была направлена в Ригу. Я нашел знакомого своего, старого полкового фельдшера, славившегося умением излечивать грудные болезни. Он устроил так, что я вскоре примостился на подоконнике с пером и бумагой.

Писал я долго и старательно, обдумывая каждое слово. Менее всего я хотел разжалобить Николая Ивановича своими горестями. Кроме того, следовало растолковать, почему я сбежал от частного пристава Вейде, да так, чтобы у вице-адмирала не возникло желания задавать мне вопросы. Раньше я хотел поведать ему про Натали, но сейчас, сидя в госпитале, передумал – во всяком случае, писать о ней было бы верхом нелепости. Письмо могло оказаться где угодно. Я решил, что расскажу о Натали при личной встрече – и то, если буду полностью уверен в благожелательном отношении к себе господина Шешукова. Все ж я не только был несправедливо обвинен в двух смертях, но и действительно заколол, в лучшем случае, тяжело ранил напавшего на меня человека.

Драку на амбарном чердаке я также хотел изобразить правильно, чтобы не выглядеть забиякой и показать, что иного способа справиться с незнакомцем я не имел. И, наконец, я назвал фамилию фельдшера, оказавшего мне покровительство, чтобы ответное письмо было доставлено на его имя.

Затем я стал искать, кому бы доверить послание.

Как я и полагал, в госпитале находились казаки, что привезли своих раненых товарищей, а теперь собирались обратно в крепость. Я окликнул одного, показавшегося мне знакомым, и назвал имя приятеля своего, казачьего урядника Соколова. Это сразу расположило ко мне собеседника, и я вручил ему письмо, поручив передать господину вице-адмиралу в собственные руки.

Казаки ускакали, а я растолковал старому фельдшеру, насколько голоден, и получил на кухне миску пресловутого госпитального габерсупа и хороший ломоть хлеба. Оставалось ждать какого-либо ответа от вице-адмирала.

Скажу сразу – никакого ответа я не дождался.

Глава шестая

Пожалуй, я прямо сейчас опишу, что произошло в кабинете Николая Ивановича Шешукова, чтобы стало ясно, какую роль сыграло в моей судьбе злосчастное совпадение.

Я уверен – получи вице-адмирал мое письмо так, как было задумано, и имея он возможность прочитать его в одиночестве, он непременно пришел бы мне на помощь, может статься, отправился к фон Эссену, и общими усилиями отцы-командиры нашли бы выход из положения. Впоследствии, когда мы с Николаем Ивановичем встретились, он подтвердил это и сообщил мне кое-какие подробности.

Воля Божья была такова, что казак с моим письмом явился в порт несколько минут спустя после частного пристава Вейде. Он страстно желал поскорее окончить свое поручение и умудрился проскочить к вице-адмиралу без доклада. Вейде в тот миг находился в кабинете.

– Чего тебе надобно? – спросил Шешуков.

– От господина Морозова к вашему высокопревосходительству пакет! – браво оттрапоровал казак и удалился, весьма довольный содеянным.

– Морозов пишет вам, господин вице-адмирал? Сие прекрасно! – с тем частный пристав протянул руку за письмом.

Он уже успел доложить о том, что на меня пало вполне обоснованное подозрение в двух убийствах и что скрываюсь я неспроста.

Николай Иванович, убежденный, что я в этом письме объясняю подоплеку своих дел и привожу достойные оправдания, письмо вскрыл и стал читать вслух. Тут и выяснилось, что меня впору обвинять в третьем убийстве, к огромному удивлению и вице-адмирала, и частного пристава.

Шешукова Вейде несколько побаивался и потому предложил такое решение: послать за мной людей туда, где я скрываюсь, доставить меня не в часть, а в порт, к прямому моему начальству, и задать все вопросы в присутствии вице-адмирала. Вейде понимал, что Шешуков будет меня защищать, но решился на это, убежденный, что три убийства – слишком веский аргумент даже для самого благорасположенного командира.

И далее частный пристав сам себя перехитрил. Ему следовало согласиться с вице-адмиралом, который предлагал послать за мной кого-то из служащих канцелярии на бричке. А Вейде по немецкой своей подозрительности предположил, что канцелярские чиновники – мои приятели, они предупредят меня о беде, дадут мне возможность скрыться, а потом доложат, что сыскать меня не удалось. Поэтому он отправил за мной полицейских, да еще со строгим наказом – хоть из-под земли откопать, а привезти.

Прибыв на Лазаретную улицу, полицейские устроили настоящий переполох. Дело в том, что гарнизонный госпиталь представлял собой в некотором роде городок, со своим храмом и кладбищем. Полицейские принялись с большим шумом искать моего приятеля-фельдшера. Служители побежали по дорожкам, громко выкликая его имя.

Я находился в храме Пресвятой Богородицы «Живоносный источник». В моем положении лучшее, на что я мог употребить свободное время, была молитва. Она оказалась услышана – при выходе из храма я увидел служителей, разыскивавших фельдшера. Я остановил одного и расспросил. Так я узнал, что в госпиталь пожаловала полиция, и сразу сообразил, кто ей на самом деле надобен.

Отчаяние мое было велико: выходило, что единственный мой защитник предал меня. И куда теперь деваться – я понятия не имел.

Разум подсказывал, что наилучшее решение – идти в порт, прямо к Шешукову, и клясться в своей невинности. Но даже если бы я сам не рассказал про Натали, полицейские, проверяя каждое мое слово, добрались бы, чего доброго, до той беседы с подлецом Штейн-

фельдом, в которой шла речь о пустующем жилье в домах его знакомцев и родни. А поскольку во всем мною сказанном стали бы искать повода для обвинения, то частный пристав Вейде вполне мог бы отправить своих людей к булочнику Бергеру на Большую Песочную. Ибо Вейде весьма неглуп...

Натали, разумеется, подтвердит каждое мое слово – и те три часа моей жизни, что вызывают у полицейских подозрение, получат разумное объяснение. Но тогда разом явится и причина для убийства – ревность. То, что Анхен, ревнуя меня, могла узнать о моей новой избраннице сведения, которых никто знать не должен, могло бы послужить отличным поводом вонзить ей в сердце кортик.

Все оборачивалось против меня. И я, заскочив за церковь и сбежав через госпитальное кладбище, понятия не имел, куда деваться дальше.

Наконец мне пришло в голову бежать в Ревель к Сенявину. Но денег на такое путешествие я при себе не имел, а идти пешком за три сотни верст, или сколько там набегало, было опасно – в военное время народ настороже, и господина во флотском мундире, который путешествует пешком порядком и без багажа, могли живо скрутить и препроводить в ближайшую полицейскую часть.

Я вообразил себе эту картину – и тут меня осенило, ведь мундир ко мне гвоздями не приколотен!

Имевшихся при мне денег вполне хватило бы для небольшого маскарада. И я даже знал, где могу приобрести кафтан и штаны местного жителя – в рыбацком поселке, на несколько верст ниже по течению за Цитаделью. Мне как-то доводилось там бывать, и я знал, что рыбаки, народ ушлый, не станут задавать опасных вопросов. С другой стороны, Вейде вряд ли додумался бы искать меня у рыбаков.

Называлось это селение, если память мне не изменяет, Меленгравен, то бишь Мельничная канава. Очевидно, там имелась мельница, которой я не приметил. Я решил, что пешком доберусь туда без особых затруднений. Но пришлось огибать городские луга, куда жители предместий выгоняли свой скот. Война войной, но коров требовалось и пасти, и кормить, и доить. Так что я, сделав немалый круг, подумал, что доберусь до рыбацкого селения уже ближе к вечеру. Однако сбился с пути, слишком рано свернув влево и вышел к Двине раньше времени.

На берегу, к немалому моему удивлению, толпились люди. Я подумал было, что на берег выкинуло утопленника, так что и подходить не стоит. Но какая-то сила влекла меня к самой воде, как если бы в ней заключалось мое спасение. Я обошел толпу, вышел к полосе темного влажного песка – и увидел суда, шедшие от устья к Цитадели и Риге.

Это была целая флотилия!

Впереди вертелась пара шлюпок, на которых постоянно замеряли глубину и криком передавали ее на борт трехмачтового красавца, являвшегося, судя по всему, флагманским судном флотилии. На его грот-мачте развевался контр-адмиральский штандарт – голубой крест на белом поле, с красной полосой понизу. За парусником двигались, не соблюдая строя, разномастные гребные суда с низкой осадкой, тоже, впрочем, оснащенные мачтами. А на мачтах – одинаковые белые вымпела с голубыми крестами.

– С нами Бог и Андреевский флаг... – невольно прошептал я.

Это шло наше спасение – канонерские лодки с Роченсальма!

Мы ждали их с особым нетерпением.

С тех пор как Левизов отряд после неудачной разведки боем вернулся в Ригу, мы со дня на день ждали появления на левом берегу серьезных сил неприятеля, а не просто разъездов, с которыми схватывались пикеты наших отчаянных казаков. Если бы врагу удалось установить напротив Рижской крепости и Цитадели свои батареи, судьба города и его защитников была бы решена в несколько дней. Узкие улицы и тесно стоящие дома обратились бы в гору дымящихся развалин и погребли под собой множество обывателей и военных.

Неведомо, долго ли продержался бы Рижский замок и была бы в том нужда – погубив Ригу, лишив ее возможности сопротивляться, неприятель наладил бы в удобном месте, выше по течению, переправы и, оставив русский гарнизон в тылу, двинулся бы на север, к Санкт-Петербургу.

Наши шесть канонерских лодок, как бы ловко ни расставлял их вице-адмирал, не могли отогнать огнем серьезных сил противника. Хотя бы потому, что орудия они несли маломощные, а прусский корпус Граверта, возглавляемый Макдональдом, должен был иметь при себе основательную полевую артиллерию.

Флотилия, растянувшись по меньшей мере на милю, неторопливо поднималась вверх по течению. Войди она в устье реки чуть раньше – могла бы использовать верховой норд-вест. Сейчас он стихал, и главным средством продвижения были длинные весла. Тем более что мачты у гребных судов все-таки коротковаты, чтобы поймать парусами верховой ветер.

Две шлюпки скрылись из глаз, медленно проплыл левый борт парусного судна, насчет коего я впал в большое сомнение – раньше мне такие вроде не встречались. Оно со своими тремя мачтами и бушпритом было бы исправным фрегатом, кабы не десять пар весел. Очевидно, сидя в Риге, я пропустил какие-то важные перемены в делах флотских. На корме судна я прочитал его название – «Торнео».

Эти суда шли из Роченсальма, и, значит, на них могли оказаться давние мои товарищи по сенавинской экспедиции!

Когда нас доставили английскими транспортом в Ригу, а корабли наши остались гнить на Портсмутском рейде, Санкт-Петербург получил самое нелепое воинство, какое только можно вообразить, – моряков без кораблей. Многие из них были отправлены в Роченсальм, где стоял наш шхерный флот, который строили по примеру шведского. Очевидно, и парусно-гребная диковина, проследовавшая мимо меня, по замыслу своему тоже шведского происхождения.

Но мне были безразличны затеи кораблестроителей – я сердцем почуял, что в дюжине саженей от меня плывут СВОИ.

Далее я пошел берегом, стараясь не отставать от «Торнео».

Я видел и даже слышал, как на борту судна, принимая сообщения со шлюпок, передают их далее, для записи в судовой журнал и по промерам выверяют курс. Казалось бы, Двина исхожена вдоль и поперек, в счастливые мирные годы с правого берега мы не могли разглядеть левый из-за мачт и парусов, промеры должны быть известны, и все же я испытывал особое удовольствие от того, что все делается правильно, на военный лад, – я, по сути своей человек мирный, хоть и в мундире.

Так я дошел до порта, наблюдая за движением трехмачтового судна и канонерских лодок. По команде, поданной с флагманского корабля, они приотстали, оставляя ему место для швартового маневра. К тому времени все, кто был в порту, и главным образом рота горожан в двести человек, набранная из добровольцев для его охраны, выбежали к причалам. Прискакали и офицеры из Цитадели. Я, не замешиваясь в эту толпу, глядел, как щегольски матросы берут паруса на гитовы и бык-гордения, чувствовалась отличная выучка. Когда реи были обрасоплены, судно начало швартовый маневр на веслах, вот где они прекрасно пригодились, и я уже начал смиряться с диковинным обликом флагманского корабля: фрегат – не фрегат, галера – не галера.

Четкие команды и мастерство матросов сделали свое дело, и судно застыло примерно в восьми саженях от назначенного причала. На берег полетели и были ловко подхвачены выброски, за ними потянулись швартовы. Корабль медленно и очень аккуратно подтягивался к причалу, и на левый его борт вывешивались кранцы. Слово сие я после смехотворной истории с прошением о моем переводе в судовые кранцы, запомнил навеки, и мне до сих пор неприятно было видеть эти большие мешки, набитые свалывшейся пенькой.

Почти сразу с борта на причал подали сходни. Группа офицеров, все с золотыми эполетами, в темно-зеленых мундирах с золотым шитьем, сошла на берег и для меня пропала из виду. Я догадался, кто эти люди. В письмах из столицы речь шла, что из Рочерсальма на помощь нам придет гребная флотилия во главе с контр-адмиралом Моллером, стало быть, один из офицеров он, а встречать его непременно явятся из Рижского замка фон Эссен со свитой и вице-адмирал Шешуков, которому теперь не до меня – нужно принять и разместить множество народа. Мы ждали этих лодок, но имели смутное представление о том, сколько человек пополнения прибудет на них в Ригу.

Когда парусник пришвартовался, к причалам стали подходить и остальные суда флотилии, в том числе и те, что я сразу не заметил – с английским флагом, который их матросы называли «Юнион Джек». Это были суда эскадры контр-адмирала Мартена, присоединившиеся к нам. Позднее они едва ли не перовыми ушли осаждать Данциг.

После того как начальство уселось в брички и укатило в Рижский замок, куда быстрее было бы добраться пешком, начали швартоваться канонерские лодки. Сперва более крупные, они заняли все причалы, затем и средние, и мелкие, и йолы – они швартовались прямо к крупным. На берег сходили солдаты и матросы, все пространство порта вмиг заполнилось толпами людей, и я страстно желал поскорее оказаться среди них, приступить к поиску знакомцев, к расспросам, но боялся – канцелярские чиновники, не все дружески расположенные ко мне, и могли навести на меня полицию.

Народу на берегу теснилось превеликое множество – сбежались и уличные торговцы, норовящие втридорога сбыть товар свой, и любознательные горожане, и плотогоны со струговщиками. Этих можно было только пожалеть.

Здоровенные молодцы, пригнав весной и в начале лета свои плоты и приведя струги, обыкновенно нанимались в порт, разгружать и грузить корабли, и на прочие работы, где требовалась недюжинная сила. Летом их набиралось столько, что коли посчитать – получалась четверть всего рижского населения. Все они были крепостные на оброке и, когда кончалась навигация, а случалось это здесь уже поздней осенью, покупали женам с детишками вкусные рижские пряники и пешком шли вверх по Двине, к своим домам. Сейчас же они оказались в положении известного рака на мели – работы им не было, возвращаться домой без денег они не смели, и с надеждой глядели на подходящие суда – глядишь, кому и потребуются их руки.

Я замешался в их толпу и стоял у причалов до позднего вечера. В порту все еще оставалось много народа, подходили новые канонерские лодки и йолы, экипажи сходили на причалы, всякий раз заново начиналась суeta с размещением и кормежкой. Иных строили и вели в Цитадель, иным приказывали оставаться на лодках, иным ставили палатки. Тут же выяснялось, что палаток не хватает, что на лодке есть больные, еще какие-то сюрпризы являлись во всей красе – а я слушал голоса и ждал.

Я угодил в очень неприятную историю, но что поделаешь – жить-то как-то надо. И спать стоя, как лошадь, я не умел. Поэтому пришлось, пренебрегая страхом быть пойманным и выданным охране, дожидаться сумерек и пробраться на такую канонерскую лодку, где экипажа нет, только вахта.

Я подкрался к лодке, стоявшей подальше и пришвартованной лагом, выждал, пока вахтенный матрос уйдет на нос перемолвиться словечком с другим вахтенным, осторожно ступил на борт, по скамье перешел к другому борту, где впритык стояла еще одна, и так, стараясь не делать шума, добрался то ли до третьей, то ли до четвертой, но не до крайней скамьи – на крайней паруса не убрали, а мне требовалась именно та «колбаса», которую скатывают из парусины, чтобы приспособить ее для ночлега.

Спрятаться было несложно. Около кормовой надстройки эта «колбаса» и нашлась, она имела вид лежащей на боку большой бочки. Сдвинув ее, я высвободил край и забрался меж

слоев чуть влажной парусины, ощутил давно знакомый легкий запах смолы, которой была пропитана ликовка шкаторин, и вспомнил фрегат «Твердый».

Одно воспоминание повлекло за собой другое, и я стал понемногу выкарабкиваться из глубин отчаяния моего, словно бы двигаясь на маяк надежды. Уже в смутном состоянии меж сном и явью я увидел себя в Эгейском море, в компании Артамона и Алешки Суркова. Нас отпустили на сушу, и пока матросы носили ведрами родниковую воду, мы из баловства полезли вверх по вырубленным в камне высоким ступеням, по которым островитяне пешком не ходят, а въезжают на маленьких осликах.

Мы остановились на скале, куда забрались из какой-то странной причуды. Она возвышалась над морем примерно на тридцать сажен. Я подошел к краю и увидел внизу полоску ослепительно белого песка. Это было даже несколько странно для островов – здесь чаще встречался песок искрасна-черный, и Сурок как-то выдумал, будто виной тому давно погасшие вулканы и их темная лава, наподобие той, из которой состоит остров Санторин, – красная, коричневая и серая.

Море до самого окоема было лазоревым – того изумительного цвета, что на картинах покажется неправдоподобным жителю Севера. Мечтая с Артамоном о дальних плаваниях, мы верили, что есть на свете моря с такой водой, отражающие роскошное южное небо, и вот сейчас стояли, наслаждаясь пейзажем. Сурок взял с собой подзорную трубу с дальномером, он дал мне ее, и я водил окуляром вправо и влево, пока не замер, умчавшись мысленно в далекие края, в столицу, к Натали. Ровный и неумолчный стрекот цикад тому способствовал. Я мечтал вернуться сюда вместе с ней и показать ей всю эту суровую и дивную красоту.

– Молчи и не двигайся, – вдруг произнес Артамон. – Замри...

Я скосил на него глаза и увидел, что дядюшка мой улыбается, как дитя.

– Не спугни, – попросил стоявший чуть ниже Сурок. – Сколько живу – впервые вижу...

Оба они глядели на подзорную трубу. Оказалось, что на нее уселась цикада и отважно смотрит на меня большими, удивленно вытаращенными глазами.

Цикады обыкновенно прячутся в листве, где совершенно не видны, или сидят на стволах деревьев. Там их при желании можно разглядеть. Но чтобы цикада среди бела дня уселась на подзорную трубу? Это было диво. И я, очень медленно отведя оптическое орудие от лица, любовался ее прозрачными крылышками, невольно вспоминая при этом все, что помнил из древней греческой словесности – про то, как эти занятные создания, похожие на огромных мух, сажали в особые маленькие клеточки и держали в домах так, как мы держим чижигов и щеглов; и как в Гомеровой «Илиаде» галдящие илионские старцы сравнивались со скрипучим хором цикад...

Артамон и Сурок молчали, боясь шелохнуться. Мы доподлинно были сейчас как дети, которым показали диковинку. А ведь нам с Артамоном уже стукнуло девятнадцать, а Алешке – все двадцать. Мы уже побывали в морских сражениях, и спрашивали с нас давно как со взрослых людей – нельзя же держать офицеров за младенцев.

Наконец она улетела, и с нас словно сошел морок, который навело это странное создание. Первым рассмеялся Артамон и потребовал трубу, чтобы тоже насладиться видом бескрайнего моря, а Сурок, хлопнув меня по плечу, позвал вниз, купаться в холодной воде, которую я страсть как не любил. Но теплая водичка осталась в Средиземном море, тут же дули ветра с севера, очень сильные, не хуже балтийских, особенно по ночам.

Я вспомнил тот остров (название его пропало из памяти бесследно, да и немудрено – мы много где причаливали, чтобы запастись водой и свежим продовольствием); я вспомнил лица товарищей моих, такие разные, но в тот миг тишины одинаково ребяческие; я вспомнил, как был счастлив в те дни, как весь мир принадлежал мне – и море, и острова, и огромные звезды ночью, и далекая прекрасная Натали. Делать этого не следовало, я лишь затосковал с новой силой, как тоскует всякий, кто вдруг остро ощутил свое одиночество. Но усталость уже одолела

меня, я уснул и проспал до утра, когда пришли матросы, чтобы размотать парус и просушить его на солнышке от утренней росы.

Тут-то меня и обнаружили!

Матросы, не найдя сразу командира лодки, привели молоденького мичмана, который первым делом заподозрил во мне французского шпиона. Но сам он решать мою судьбу не мог. Было еще слишком рано для обращения к начальству, и он оставил меня в кормовой пристройке под охраной двух матросов, а сам пошел совещаться с товарищами. Я слышал его бодрый голос – он переключался с соседними лодками, заодно узнавая новости: кто еще успел прийти за ночь.

– Что, и Вихрев уже здесь? – радостно закричал он в ответ на слова, которые я плохо расслышал. – А где пришвартовался? Что? Там?

Артамон здесь, в Риге! Это была лучшая новость за все последние дни, и я возблагодарил Господа. Следовало как можно скорее его отыскать, но что я сказал бы сердитому мичману? Я был уже до такой степени запуган, что боялся назвать вслух свою фамилию.

Господь сжалился надо мной – я понял вдруг, как мне следует поступить. Ведь у меня есть магнит, Артамонов подарок, который я всюду таскал за собой, усугубляя этим нелепость своего положения: нарочно же не придумаешь такое – убийца с магнитом! Я стал громко призывать мичмана, и он с большим неудовольствием подошел.

– Христа ради, мичман, отнесите господину Вихреву эту вещичку! – взмолился я, протягивая магнит. – Он должен ее признать! Он будет вам безмерно благодарен!

Молодой человек посмотрел на меня весьма недоверчиво, но взял магнит и послал с ним юнгу, а сам ушел, обменявшись сперва взглядом с матросами.

– Сиди, барин, и не пробуй сбежать, – предупредил меня статный детина, косая сажень в плечах. – Поглядим еще, каков ты русский офицер.

– Дело военное, – добавил его товарищ. – А неприятель хитер, может и лазутчика подослать.

– Какой я лазутчик, вы что, не слышите – русским языком же с вами говорю! – воскликнул я.

– Мало ли, что языком. В душу-то к тебе не заглянешь! – отрубил детина, и далее мы сидели на скамье молча.

Я уж забеспокоился не на шутку – мало ли, что в шхерном флоте служит Вихрев, не обязательно это должен быть мой бешеный дядюшка Артамон. То-то удивится лейтенант, получив непонятно зачем магнит в медной оковке...

Но ожидание мое завершилось полным триумфом – я издали услышал зычный голос любезного дядюшки, окрепший и в пассатах Средиземного моря, и в ледяных ветрах финских шхер.

– Где этот господин?! Подать мне его сюда! – кричал Артамон, путешествуя с лодки на лодку. – Подать сюда старого интригана!

Я увидел его статную фигуру, что вдруг воздвиглась на борту соседней с нами канонерской лодки наподобие памятника на постаменте, с раскинутыми для объятия руками, я узнал его широкую радостную улыбку и наконец вздохнул с облегчением – в мире был только один человек, который сейчас поверил бы мне безоговорочно, и он огромным прыжком, удивительным для его мощного телосложения, перескочил ко мне.

Мы обнялись.

– Молчи, ради Бога, – шепнул я ему. – Не называй меня ни по имени, ни по фамилии...

– Спасибо, товарищ, – сказал Артамон мичману. – Ты славно сделал, что не доложил об этом повесе начальству. Не иначе, он обрюхатил чужую женку, хорошенькую немочку, и прячется тут от разъяренного мужа. Я его знаю, он на такие штуки горазд!

Матросы невольно рассмеялись – и судьба моя была решена, меня отдали в полное распоряжение моему отчаянному дядюшке, который вряд ли выдумал чужую женку, а, статочно, сам побывал в подобной переделке.

– Мы придумаем, как отвести гнев начальника, которому нажаловался рогатый супруг, – продолжал Артамон. – А пока я заберу его к себе. Надобно выждать время, чтобы страсти остыли.

– А меня обнять не угодно ли? – спросил, перескакивая с борта на скамью другой мой родственник, Алексей Сурков.

– И ты здесь! – воскликнул я. – Братцы мои, ведите меня куда-нибудь, поесть дайте! Только не зовите по имени...

– Какой я тебе братец?! – взревел Артамон. – Тамбовский волк тебе братец, а я твой почтенный дядюшка! И я уже почти готов лишиться тебя наследства!

Одна из двух канонерских лодок, которыми командовал Артамон, пришвартовалась далее прочих, почти в протоке меж берегом и Андреасхольмом. Туда меня и повели, причем Артамон и Сурков ругались немилосердно – я и раньше был слабым прыгуном, а спокойная жизнь в канцелярии и вовсе сделала из меня труса – я доподлинно боялся прыгать с борта на борт. Теперь, вспоминая об этом, я заливаюсь натуральным румянцем – надо ж довести себя до такого плачевного состояния...

– Угомонись, Артошка, давай сядем там, где нас никто не услышит, и я все тебе расскажу, – сказал я. – Сурок, это и к тебе относится.

– Морозка, ты и вообразить не можешь, как я тебе рад! – отвечал мой племянник Алексей. – Сегодня днем я покажу тебе одну штуку. Я перенял замысел у господ англичан, а плотники в Кронштадте за небольшие деньги сколотили мне это диво. Песок на берегу вполне для нее подходит...

– Сурок, ты со своей штукой стал пугалом всей флотилии, – вмешался Артамон. – С тобой уже разговаривать бояться – о чем тебя ни спроси, ты непременно расскажешь про свой селерифер.

– А ты, Артошка, со своими амурными подвигами осточертел не только офицерам, но и матросам, и мне верно сказывали, что ты пытался поделиться ими с коком Петровичем, да тот половником отмахался! – тут же парировал Алексей.

Я смотрел на них обоих с восторгом.

Они немного изменились – Артамон раньше не был столь мощен и плечист, да и брюшко наметилось, а у Суркова, сдается, потемнели волосы, раньше совершенно белесые, и усмешка стала уже не столь мальчишески простодушной. Но это были они – мой Артошка, мой Сурок, и я знал, что они на все пойдут, чтобы выручить меня из беды.

Мы устроились на корме, под навесом, откуда Артамон тут же прогнал своих подчиненных, и я, грызя сухари в ожидании завтрака, довольно бессвязно рассказал им свою историю, сперва сообщив, что обвиняюсь в трех убийствах, затем оплакав Катринхен и Анхен и, наконец, изложив точку зрения моих треклятых соседей и частного пристава Вейде. С некоторым трудом они разобрались и выстроили события в прямой последовательности.

– Но где же ты провел тот вечер? – резонно спросил Сурков. – Неужто Артошка прав, и ты совратил замужнюю женку?

Я порядком смутился – в мыслях моих так ведь оно и было...

– Рассказывай, Морозка, все, как на духу, – велел Артамон. – Чтобы тебе помочь, мы должны знать правду и отпустить тебе твои грехи, иначе никак.

– Дайте сперва слово, что будете молчать, как двухнедельные утопленники, – велел я.

– Буду молчать, как судовой якорь, когда его спускают в воду, – тут же обещал Артамон.

– Буду молчать, как пушечное ядро в трюме, – сказал Алексей. – Вот те крест!

Оба перекрестились, даже не спросив, что это за роковая тайна.

Я вздохнул и решился.

– Натали в Риге.

– Какая Натали? – недовольно спросил Артамон и вдруг понял: – Твоя Натали?!.

Он во время нашего плавания, наблюдая, как я пишу ей длинные письма, и даже давая смехотворные советы, в уме своем, очевидно, уже поженил нас. И даже зная правду, не мог отречься от этого заблуждения.

– Этого не может быть! – воскликнул Сурок. – Я встречал в Кронштадте две недели назад тетку Анну Ивановну, она ничего не сказала, и Филимонова в Ригу, кажись, ни за чем не посылали...

– Она сбежала от своего Филимонова...

– К тебе? – хором спросили мои родственники.

– Ко мне... – сдается, я произнес это таким тоном, каким сообщают о смерти близкого родственника.

Некоторое время они молчали, увязывая в умах своих явление Натали с моими приключениями.

– Кто еще знает, что она здесь? – первым спросил Сурок. Он всегда был самым сообразительным из нас троих.

– Никто. Или же... или же тут какая-то злодейская интрига! – воскликнул я.

В самом деле, тот, кто мог бы идти от самого Санкт-Петербурга по следу Натали, имея поручение разлучить нас навеки, статочно, не погнушался бы убить Анхен. Есть такие умельцы, что обстрипывают запутанные семейные дела. Я, оказавшись единственным обвиняемым, был бы лишен чина, угодил за решетку, и следующая моя встреча с Натали произошла бы разве что на том свете. Как говаривал отставной канонир, нанятый мне в домашние учителя математики и геометрии: что и требовалось доказать...

И кто бы мог дать такое поручение? Да только один человек на свете!

Видимо, не зря бедная Натали называла супруга своего не иначе как чудовищем.

Я немедленно изложил своим родственникам эти домыслы, и они признали – весьма похоже на правду. Особливо Артамон уверовал в то, что муж Натали составил такую злодейскую интригу. У молодых людей есть нечто вроде своей мифологии, в которой хромой ревнивец Вулкан, отслеживающий по закоулкам свою легкомысленную супругу Венеру, соотносится со всеми законными мужами, сколько их есть на белом свете.

– Братцы, я полагаю, первым делом нужно спровадить Натали обратно в столицу, – сказал Артамон. – Тогда у нас будут развязаны руки. А теперь нам придется все время помнить, что она здесь и мы рискуем навести на нее полицию.

– Где ты ее спрятал? Я пойду к ней, объясню твое положение и сумею ее убедить вернуться домой, – предложил Сурок.

– Нет, ни за что! Если ее драгоценный супруг был настолько ловок, чтобы подстроить все мои неприятности, то что ее ждет в столице? Он найдет способ проучить Натали за побег!

– Но как ей удалось добраться до Риги без подорожной? – разумно спросил Сурок. – Да еще в военное время?

– Она приехала в мужском платье, да не одна, а с горничной-француженкой, – объяснил я. – Горничная – особа в годах, опытная, и нашла способ добраться до Риги.

– Откуда взялась эта француженка? – продолжал расспрашивать Сурок.

– Ее... Царь Небесный! Ее же приставил к Натали Филимонов! – осознав это, я ужаснулся. Очевидно, интрига была еще сложнее, чем я предположил.

– Кажется, он вздумал избавиться от своей молодой жены, – хмуро сказал Артамон. – Коли так, Натали нужно надежно спрятать, да не в Риге! У нее непременно должна быть московская тетушка. У каждого человека есть московская тетушка.

– Мы отрезаны от Москвы, – возразил я и в нескольких словах объяснил положение наших и вражеских войск.

Конечно, можно было бы отправить Натали в Москву через Псков, да ведь невозможно выправить ей бумаги. На московском тракте, может случиться, сейчас не до бумаг – но там то и дело появляются вражеские партии, и нам постоянно доносят о попытках наладить переправы.

Формально Рига не так уж была нужна маршалу Макдональду – он вполне мог двинуться на Санкт-Петербург и обойдя ее, для этого довольно устроить переправу где-нибудь у Jakobstad, куда он и повел свои силы от Бауцена. Было у него на уме и устроить стремительный штурм Двинска (он же Динабург, совершенно русский город в верхнем течении Двины). Через Двинск он, возможно, собирался идти на Санкт-Петербург. По последним сведениям, предмостные укрепления наша армия удержала, но для чего? Ведь сама Двинская крепость так и осталась недостроенной и совершенно не годилась для обороны.

А если глядеть стратегически (стратегию нам преподали позднее, и это рассуждение нам с Артамоном и Сурком тогда не пришло в головы), то Бонапарт хотел взять Ригу для того, чтобы французские корабли беспрепятственно входили в Двину и снабжали свои части, вошедшие в Россию, всем необходимым. Известно же, что доставка водой обходится дешевле всего. Более того – то, что нам удалось удержать Ригу, в известной мере способствовало полному поражению неприятеля осенью двенадцатого и зимой тринадцатого года. Его части при всем желании не могли бы уйти от преследования водным путем.

Но вернемся на Артамонову большую канонерскую лодку, вернемся к тому утреннему часу, когда я воссоединился со своими родственниками.

– Я охотно поделился бы с ней своими тетушками, кабы от этого была польза. Вот смотрите, братцы, что получается. Твою Натали выманили из дому, смутив ей душу воспоминаниями о тебе, – стал рассуждать Сурок. – Единственные, кто знают о цели ее побега, – ты и французенка. Для прочих она пропала из столицы бесследно, понимаешь? Эта французенка подкуплена!

– Но если так – почему они оказались в Риге? Если Филимонов хотел, чтобы Натали пропала бесследно, она могла пропасть по дороге, – возразил я.

– Что-то помешало этому. А потом твой враг придумал обвинить тебя в убийстве твоей любовницы... – Сурков задумался. – Нет, что-то у нас концы с концами не сходятся... Что она представляет собой, эта французенка?

– Опиши ее в двух словах, – потребовал Артамон. – Скажи о ней главное.

– Она сильно смахивает на переодетого мужчину, – подумав, отвечал я. – На невысокого такого, коренастого француза, причем далеко не красавца... И силищи необычайной – запросто несла два тяжелых саквояжа...

– Этого еще недоставало! – Алексей даже вскочил. – Если так, то не она ли, опередив тебя, прибежала в твой дом и заколола эту немочку?

– Как она могла знать, что Анхен придет ко мне? – спросил я. – Как она вообще могла что-то знать про Анхен? Разве что...

Я вспомнил, как Анхен ворвалась в комнату, когда Натали и Луиза пришли ко мне. Французенка по неловкому вранью бедной моей подруги могла догадаться, что дело нечисто. Французенка... или француз?..

Артамон и Сурков устроили мне строжайший допрос, пытаясь по моим описаниям определить, женщина Луиза или же переодетый мужчина. Я пока еще видел в ней коренастую черноволосую женщину средних лет, стриженую, с фигурой плечистой и несколько мужеподобной, однако при всех положенных округлостях. Артамон сообщил мне, что именно округлости – самое легкое в маскарade, были бы хлопчатая вата и тряпки.

– Я, братец, столько особ раздел до самого райского вида, что уж разбираюсь в их хитростях лучше всякой модной торговки! – объявил он. – А кстати, как тут насчет скоромного? Я неделю постился, от самого Роченсальма!

Мы с Сурковым переглянулись – вот уж воистину, предмет первой необходимости. Следовало как-то отвадить блудливого дядюшку от этих мыслей.

– Девиц много, да они тебе не по душе будут, – сказал я. – Они разве что для английских моряков на зимовке годятся, а русскому офицеру – только плюнуть да прочь пойти.

– Как так? – возмутился Артамон. – В столице все самые знаменитые девки – из Риги!

– Ну, ты подумай, мудрая твоя голова, неужто Рига – поле без конца и края, где эти девки растут, как капуста? Каждый год в ремесло идет сколько-то девок, допустим, сотня или две, – сказал я. – И сразу же самые красивые и способные отбираются хозяевами своими, сажаются в сани и отправляются в Санкт-Петербург! Ты же сам знаешь, среди жриц любви более всего немок. Так столичные – самые лучшие, а у нас тут остаются те, что попроще.

– А вот любопытно, почему именно немки идут в это ремесло, – задумчиво произнес Сурков. – Морозка прав – в столице именно они и процветают...

Я сам задавался этим вопросом и спрашивал покойную Анхен. Она мне все и растолковала.

– Источник зла кроется в самой добродетели, братцы. Молоденькая немочка до крайности простодушна и привязчива, и коли кто начнет за ней увиваться – легко верит всем клятвам. А есть такие господа, что этим и промышляют. Собыют девку с пути, а потом ей одна дорога – к сводням, в веселые дома.

Когда я произнес это, в голове моей закопошилась некая мысль, ожило воспоминание, что-то произнес голос Анхен и пропал. Это касалось как раз господ, увлекающих здешних девиц на путь порока... что-то такое было сказано...

– Вон оно что, – произнес Артамон. – Плохо дело. Как же быть, братцы? Молчи, Сурок, тебе этого не понять! Тебе не с девкой любиться охота, а с селерифером!

Сурков, высунувшись из-под навеса, глядел, что делается на берегу. Там были разведены костры, и повара с провиантских судов варили кашу для матросов, а по Двине шли вверх под парусами новые канонерские лодки. Очевидно, эти переночевали на побережье милях в двадцати от речного устья и спозаранку двинулись в путь.

– Хорошо, что подсказал, – не оборачиваясь, поблагодарил Сурок. – Покамест еще непонятно, чем мы тут занимаемся, я велю матросам вытащить селерифер и тут же его опробую. Но сперва надобно раздобыть для Морозки матросский наряд. Его мундир мы спрячем, а самого переоденем, и я возьму его к себе на лодку – как будто поменялся людьми с тобой. А сам отдам тебе своего Мишку Чемоданова...

– Что?! – дядюшка мой явил вид совершеннейшей ярости, лучше любого актера на сцене. – Чемоданова?! Ты меня со свету сжить решился?

– Я же с ним как-то управляюсь.

– Так я отдам тебе своего Гаврилу...

– Лучше я повешусь!

Они стали бурно обсуждать перестановки в командах своих лодок, необходимые, чтобы мое появление выглядело более или менее естественным, и запутались. Я же чувствовал, что смерть моя близка – отродясь я так долго не голодал. Но завтрак мой был отложен до той поры, как удастся перерядить меня матросом.

Наконец все образовалось, и я в куртке и панталонах из полосатого, синего с белым, тика предстал перед дядюшкой Артамоном и племянником Сурковым. Оба хохотали до упаду, так что я даже сам развеселился и поверил в благополучный исход этого предприятия.

– Ну, брат, матрос из тебя никудышний, достаточно взглянуть на эти белые ручки, отродясь не державшие ничего тяжелее перочинного ножичка, – сказал Артамон. – Ну да ладно. Я даже готов тебе позавидовать – в такую жару твой мундир куда удобнее моего.

И точно, в середине июля суконный мундир – вещь обременительная, это я по себе знал.

Затем состоялось внедрение мое в команду. Артамон привел меня к матросам с канонирами, собравшимся вокруг котла с кашей, и держал перед ними такую речь:

– Голубчики мои, вот этого орла, прозванием – Печкин, я выменял на нашего Гаврилу Медного Лба, да еще с придачей...

Громкий и дружный смех был ему ответом.

– Прошу любить и жаловать, – продолжал Артамон. – А коли кому сей размен не по душе, то я и его на что-либо полезное выменяю, отправлю, ну, хоть к тому же Пустохину...

Тут смех прекратился, и я понял, что неведомый мне Пустохин у матросов особой любовью не пользуется.

– Я сказал, а вы поняли, – завершил Артамон. – Садись, Печкин, ешь. Дайте ему кто-нибудь пустую миску и ложку.

Сурков, бывший при этом представлении, дружески пихнул меня локтем в бок и скрылся. Как оказалось, он послал одного из своих подчиненных на провиантское судно, и там в зачет каких-то давних договоренностей выдали для меня необходимое – и ложку, и одеяло, и сундук для имущества.

Так я из мичманов (таково было мое скромное звание) стал матросом шхерного флота.

Глава седьмая

В порту творилась сущая неразбериха, канонерские лодки и малые парусные суда все шли и шли. Караван, как выразился племянник мой Сурков, растянулся на всю Балтику, и когда гемам «Торнео» швартовался у причалов Рижского порта, последний йол еще только отходил от Роченсальма.

– Гемамы мы позаимствовали у шведов, – объяснил Сурков. – В шведскую войну они хорошо себя показали в шхерах, как и канонерские лодки, а чем твоя Двина с ее островами и рукавами меж них отличается от шхер? Та же узость протоки и та же короткая волна. Но «Торнео» хоть строили из хорошего леса и спустили на воду четыре года назад, а наши корыта?

– Это не лодки, – подтвердил Артамон. – Это черт знает что, а не лодки. Вообрази, в начале марта – этого марта, а не прошлогоднего! – пишет наш посол из Стокгольма, что будто бы эскадра французских канонерских лодок может, перейдя в Балтийское море, очень хорошо прикрыть левый фланг Бонапартовой армии, когда начнется война. Государь, при всей своей нелюбви к флоту, всполошился и велел построить за два месяца шесть десятков канонерских лодок, чтобы было что противопоставить Бонапарту. И как ты полагаешь, из чего принялись их строить, коли лес загодя не запасли и не выдержали?

– Из сырого леса, – отвечал я. – Это даже толмачу понятно, не токмо что моряку.

– Чуть не вся Моллерова флотилия такова! Тут нам, брат, за шведами не угнаться. У них судно из сухого леса двадцать лет прослужит, а эти корыта – хорошо, коли шесть. И то уж диво, что они, груженные до того, что вода до уключин доходила, совершили такой переход, и ни одно не развалилось. Зато что ни день – то из столицы новый указ о поддержании воинского духа!

– Хорошо хоть деньги на флот давать стали, – и Сурков вздохнул. – Обстоятельства вынудили. Не любит наш государь флота...

Мы некоторое время помолчали.

Я знал, о чем думал Артамон – он сожалел, что родился слишком поздно. Говорить дурно о государе он не мог – но по-своему протестовал против такого отношения к флоту, мечтая о тех временах, когда флот творил чудеса при матушке Екатерине. Эти мечты в детстве нашем сливались воедино с мечтами о Роченсальме. Нам чудилась дивная морская крепость, где стоят у длинных причалов боевые фрегаты, корветы и линейные корабли; крепость, к строительству коей руку приложил Суворов; крепость, где служба прекрасна, командиры предусмотрительны и отважны, матросы ловки, словно белки, и сильны, словно медведи; крепость, стоящая, как в сказке, сразу на всех рубежах Отечества – где в ней нужда, там она и является...

Что я в воображении своем держал именно такой образ Роченсальма – неудивительно, ибо я его никогда не видал и мог сочинять сколь угодно прекрасным, по своему разумению. Но и оба моих родственника были об этой морской крепости примерно того же мнения, хотя служили там несколько лет. Для меня она являлась чем-то вроде воздушного замка, для них – местом, где их приютили и дали им возможность снова служить Отечеству. А это много значит.

Более того, я чувствовал, что у них уже образовались тесные отношения с теми из офицеров, кто дальше Балтики не плавал, а начал службу в шхерном флоте и там же полагал ее завершить, вплоть до отставки. Братство, которое возникает между флотскими, было мне известно, я только немало месяцев прожил вне любых подобных отношений – не считать же родственником Николая Ивановича Шешукова! И мной владела легкая зависть: они-то, Артамон с Сурком, все это время провели среди *своих*...

Честно сказать, мы двигались к Большой Песочной, но не так, как следовало бы, идя прямо от порта: сперва берегом вдоль укреплений Цитадели, потом по мостику через ров и мимо гауптвахты – на Замковую площадь, вдоль стены Рижского замка – к началу улицы. Я

до полусмерти боялся встретить кого-либо из знакомцев или, не дай Господь, полицейских, знающих меня в лицо.

Мы пошли на двух йолах разведать, каковы острова и протоки меж ними выше Риги по течению. Это было необходимо не потому, что командиры рижских канонерских лодок соврали бы роченсальмцам, а просто есть вещи, которые необходимо видеть своими глазами. Даже если морскому офицеру выданы точные карты, все равно следует сверить их с действительным расположением островов и уточнить расстояния. Тем более что Двина по этой части отличалась непостоянством – то намывала островки, то, напротив, размывала их вовсе, то просто меняла их очертания.

С собой мы взяли двоих опытных плотогонов и с их слов, продвигаясь по реке, записали много любопытного.

Расстояние было невелико – всего-то около шести морских миль против течения. Но предстояло обогнуть с полдюжины островов. Из протоков между ними при западном и югозападном ветре следовало ожидать шквалов. Конечно, можно ориентироваться по дыму от рыбацких коптилен на Газенхольме, но это будет только верховой ветер. Остальное можно определить, только предварительно пройдя маршрут и сделав соответствующие пометки на карте.

Я до сих пор не плавал вверх по реке и с любопытством глядел на острова. Нетрудно было предположить, что они окажутся столь же плоскими, как и равнина, по коей протекает Двина. Невольно пришли на ум острова Эгейского моря, их имена, пробуждающие в памяти воспоминания о великом слепце Гомере: Имброс, Лемнос, Самофраки, Тазос, Керкира...

Это было прекрасное время, хотя я запретил себе вспоминать о нем, но красота и спокойствие тех дней жили в памяти наподобие мечты об утраченном рае. Фрегаты наши шли по лазоревому морю под всеми парусами. Стоя на носу «Твердого» у фальшборта и придерживая двууголку, я наблюдал, как острова неторопливо проплывали мимо – один широкий, с изрезанными берегами, наводящими на мысль о финских шхерах, разве что вода была невозможного для шхер яркоголубого цвета, другой узкий и длинный, а большинство резко вырастало из воды и возносило ввысь каменистые свои утесы. Острова на Двине зеленые, они покрыты деревьями, лугами и пашнями, греческие же острова издали гляделись желтыми, словно бы бесплодными, но солнечным утром казались золотыми. И зелень их была иной, я сразу узнавал ее, серебристую зелень оливковых рощ. Все было иным... но какие-то ощущения все же возвращались...

Дойдя до Даленхольма, мы повернули назад и вошли в протоку, отделяющую Россбахсхольм и Звирденсхольм от Большого и Малого Любексхольмов. Напротив северного мыса Звирденсхольма Артамона, Суркова, меня и еще двух матросов с лодки Артамоновой высадили на берег, и мы оказались в Московском форштадте. Оттуда мы через Карловы ворота попали в Рижскую крепость и пошли по Господской. А товарищи Артамона и Суркова, командиры канонерских лодок Бахтин и Разуваев, отправились далее, вниз по течению, к порту.

Теперь лишь мы могли поговорить о наших делах. Но начали почему-то с «Торнео» и с контр-адмирала Моллера. Я беспокоился, что он примется делить власть с Николаем Ивановичем и, поскольку немец всегда русского по этой части обойдет, сумеет обвести вокруг пальца моего начальника. Хотя Шешуков не пришел мне на помощь в трудную минуту и даже навел на меня полицейских, я на него зла не держал – военное время к злопамятности, как мне кажется, не располагает. Но Сурков меня успокоил, Антон Васильевич Моллер был доподлинно боевым офицером, служил он не только на Балтике, но и на Каспии, командовал бомбардирским ботом «Моздок», фрегатом «Архипелаг», на котором участвовал в операциях против французских портов, фрегатом «Нарва» и, наконец, пушечным линейным кораблем «Мстислав». На счету Моллера были также голландская экспедиция и последняя шведская война, в которой он уж командовал эскадрой, за что его и произвели в контр-адмиралы. Последние два года он был командиром Кронштадтского порта и директором штурманского училища.

От Моллера мы перешли к его флагманскому судну и насилу вспомнили, для чего идем сейчас по Риге сплоченным отрядом, причем я помещен в серединку, в полном соответствии с приказом Бонапарта, якобы оглашенным во время его египетской кампании:

– Ослов и ученых – в середину!

Задача наша была такова: я хотел показать моим друзьям дом, где поселилась Натали, чтобы они осторожно отыскивали ее и передали ей немного денег. Не столько, сколько я выручил бы за драгоценности, но хотя бы в количестве, достаточном для жизни в осажденном городе, где провиант будет день ото дня дорожать.

– Это уже более походит на улицу, – сказал Артамон, увидев Большую Песочную. Что и неудивительно для человека, жившего в столице и в Кронштадте, где улицы проложены по линейке. Совсем прямой я бы Большую Песочную не назвал, но ширины она, по рижским понятиям, была изрядной.

Мы прошли до ней до Пивоварной улицы, и я уже приготовился незаметно показать нужный дом, как вдруг спрятался за мощную Артамонову спину, потому что едва нос к носу не столкнулся с Луизой.

Француженка, по обыкновению своему одетая в мужское платье, очевидно, опаздывала. Спустившись с трех гранитных ступенек и счастливо миновав столкновения с двумя флотскими офицерами, один из которых – сущая гора, она устремила в сторону Пороховой башни и свернула вправо.

Я тихонько объяснил родственникам, кто сей ловкий и быstroногий господин.

– Ишь ты... – прошептал Артамон, глядя ей в спину. – А сюртучишка-то широкий, шире, чем надобно...

– Надобно пойти за ней следом, – прошептал Сурков. – Мало ли куда собралась...

– За ним следом, – так же шепотом возразил Артамон. – Не видишь, что ли? Дамы так не ходят!..

– Молчите вы! – призвал я их к порядку, к большому удивлению матросов, Гречкина и Свечкина.

Надо заметить, что Артамон взял их в команду именно за комическое сходство прозваний, переманив с других лодок, и, назвав меня Печкиным, как дитя, этой своей затеей наслаждался.

Дядюшка мой сделал верное замечание – при ходьбе дама должна сообразовываться с шириной своего платья, а теперь они как раз все носили узкое. Походка Луизы свидетельствовала, что панталоны ей привычнее юбки.

Между нами вышел небольшой, но яростный спор, тем более сердитый, что ругались мы шепотом. Следовало быстро решить, посылать вслед за Луизой матросов, включая меня, или же не посылать. Я утверждал, что, коли Луиза доподлинно мужчина и злодей, она живо обнаружит следующих за собой троих полосатых бело-голубых чудаков, что из этого выйдет – одному Богу ведомо. Артамон, которому мы с Сурком то и дело порывались зажать громогласный рот, твердил, что в городе полно разнообразных чудаков, включая англичан, присоединившихся к флотилии Моллера, и не одни Гречкин со Свечкиным – другие матросы с канонерских лодок тоже наверняка шастают по улицам, поэтому на них уже не обращают внимания.

– Мы ж не на селерифере собрались преследовать это злокозненное существо! – сказал он наконец.

Но пока мы пререкались, Луиза окончательно пропала из виду, да и немудрено исчезнуть в узких улочках, переполненных народом.

– Натали сейчас одна, – сказал Сурков. – Лучше всего будет, если я пойду к ней и уговорю ее съехать с этой квартиры, расписав твое, Морозка, бедственное положение. Ведь если тебя примутся искать всерьез – то и до Натали доберутся. Я пообещаю ей, что оставлю тут наших

людей ждать Луизу, и мы доставим твою красавицу в новое жилище, о котором француженка никогда и ничего не разведает...

– И где ж ты собираешься нанять ей квартиру? Город переполнен, каждый день приходят новые беженцы, и каждая крысиная нора сдается втридорога, – возразил я. – Нет, предупредить-то ее нужно, а также передать ей деньги, и сам я туда идти не могу – не дай бог, нарвусь на домохозяина... Но следует ли ее пугать? Если Луиза до сих пор не причинила ей зла, то, может, жизнь Натали вне опасности?

– Гляньте, кого черти несут, – негромко произнес Артамон с превеликим неудовольствием в голосе.

Я повернулся и увидел офицера, что неторопливо шел по середине Большой Песочной, разглядывая богатые дома и вывески лавок. Он был среднего роста, худощавого сложения, темноволос и темноглаз, с лицом сухим, спокойным и строгим, и имел странную примету – глаза его, глубоко посаженные, казались обведенными темными кругами. Возраст его я определил бы лет в тридцать пять, не более, и не по лицу, а скорее по легкой походке – старики так не ходят.

– Ишь, променад совершает, – добавил Сурков. А матросы, Гречкин с Печкиным, тоже нехорошо переглянулись.

– За что вы его невзлюбили? – спросил я.

– Спасу от него нет, – отвечал Сурков. – Он мне на учебных стрельбах канонира чуть до гроба не довел – так его разнес по кочкам, что бедный мой Степаныч едва не плакал. Я спрашиваю – за что?! Он отвечает: было бы за что, убил бы. Вот такой шутник. Померещилось ему, будто Степаныч не туда картузы с порохом положить собрался.

– За то ему и чины нейдут, – злорадно заметил Артамон. – Господь-то сверху все видит! Как он смолоду в сержанты попал – так в сержантах и скончается! И будет на том свете чертей гонять, чтоб они котлы свои до блеска начищали!

– Кой черт занес его во флот? – жалобно спросил Сурков.

Матросы закивали головами, словно присоединяясь к сему вопросу.

– Ему бы в Морском корпусе надзирателем служить. Или в Инженерном училище недорослям арифметику преподавать, – продолжил мысль Сурка мой недовольный дядюшка.

– Тут ты к нему, Артошка, несправедлив. Он, сказывали, аналитическую геометрию учил, в фортификации лучше нас всех разбирается, – вступился за сержанта Сурков. – Но к недорослям его допускать опасно, он их одними своими злобными взорами с ума сведет, калекami сделает. Его надобно перевести с флота на Сестрорецкий завод – наблюдать за отливкой орудий. Там от него более всего пользы будет.

Я понял, что этот грозный сержант – главный над канонирами, и молча посочувствовал моим родственникам.

– Вообще непонятно, как во флот взяли поляка, – заметил Артамон. – Хочешь верь, Морозка, хочешь нет, а его звать Вячеславом.

– Это старое русское имя, – возразил я. – Оно лишь похоже на польское.

– И прозвание у него также нерусское. Слыхал ли ты когда фамилию Бессмертный?

– Как?.. – я ушам своим не поверил.

– Бессмертный. Нарочно не придумаешь! Его наши канониры Кошеем Бессмертным прозвали! Правда, похож?

Я рассмеялся – действительно, лицо было своеобразное.

– У поляков такой фамилии точно нет, – сказал я. – Так что ошиблись вы, братцы.

– Поляк, – насупился Артамон, и я понял, что спорить тут бесполезно.

Сержант Вячеслав Бессмертный прошел в сторону Пороховой башни, а мы принялись судить да рядить, как же быть дальше. Прежде чем что-то предлагать Натали, нужно было придумать, где ее спрятать. Мы с Артамоном перебрали все возможные и невозможные места,

включая и русскую богадельню в Московском форштадте, Сурков же думал, думал и додумался.

– Мне вот что на ум пришло, братцы, – сказал он. – Есть место, где Натали точно искать не будут, и оно пустует!

– Что ж это за место? – несколько удивившись, спросил я.

Ведь я провел в этом городе три года и сейчас не мог ничего изобрести, а Сурок побывал тут лишь проездом, сойдя на берег с английского транспорта, дня два отдохнул – и помчался в столицу.

– Твое бывшее жилище. Погоди, Морозка, я все объясню!

– Да уж сделай милость, – произнес Артамон. – Уж больно чудная затея.

– Ты сбежал оттуда совсем недавно и хозяин не знает, вернешься ли ты. Стало быть, комната твоя свободна. Это – во-первых. Во-вторых – Луиза, если она что-то замышляет против Натали, там ее искать не догадается.

– Мы не знаем, что известно о Морозкиных подвигах Луизе, – заметил Артамон. – Мне в голову пришла мысль получше. Я подкараулю эту вашу Луизу и совращу ее с пути истинного. Тогда-то многое и выяснится!

– А коли она – мужчина?! – воскликнул изумленный Сурок. – Ты же сам утверждал!..

– Ну, так это первым делом и обнаружится. А коли баба... Влюбленная баба, было бы вам известно, от любовника секретов не держит.

– Влюбленная?.. – хором переспросили мы.

– А что тут удивительного. Против меня еще ни одна не устояла. Уж не знаю, почему, но так оно и есть, – с неподражаемой скромностью сообщил Артамон. – Ну а коли мужчина – свяжу и принесу на лодку. Там мы с ней... с ним живо разберемся.

– Она доподлинно мужчина, – твердо сказал Сурков. – И вот вам доказательство. Столкнувшись с тобой, Артошка, она не окаменела, не вытаращила глаза, не залилась румянцем или хоть, на худой конец, не покрылась смертной бледностью. Она просто проскочила мимо и ушла, не оборачиваясь. Для женщины сие невозможно! Стало быть...

Свечкин с Гречкиным еле сдержали смех, да я сам я прыснул, как девица.

Кое-какие основания для хвастовства у моего дядюшки имелись. За время, потребное, чтобы прошагать Господскую улицу из конца в конец, я сам не раз замечал взоры горожанок, направленные на его огромную статную фигуру. По рижским понятиям он считался жених хоть куда – упитанность тут весьма ценилась. Да и лицо у него было славное – с правильными чертами, с темными живыми глазами, с замечательной улыбкой и круглое, словно бы для образца взяли тарелку.

Я, к сожалению, не так быстр умом, как Сурков. Мои приключения меня напугали, привели в отчаяние и только. Я еще не настолько от них опомнился, чтобы начать сопоставлять подробности. Конечно же я пытался это сделать, но взаимосвязи между событиями не обнаружил, и все их участники были пока что сами по себе – и подлый ювелир Штейнфельд, догадавшийся, как поживиться на моей беде, и дурак герр Шмидт, и явно подкупленный ювелиром частный пристав Вейде, и бедная Анхен, и незримый русский человек, получивший от меня удар кортиком.

А вот Сурок сообразил, что все не так просто.

– Первое, что мы должны установить, – не состояла ли эта Луиза в сношениях с твоим квартирным хозяином или с проклятым ювелиром, – сказал он. – Если Филимонов приказал ей впутать тебя в дело об убийстве, она должна была собрать сведения о тебе. Либо она имела эти сведения изначально и знала про Анхен еще в Санкт-Петербурге, либо она выяснила правду о тебе, уже прибыв с Натали в Ригу, что вероятнее. Что скажешь, Морозка?

– Скажу, что ты сам себе противоречишь, Сурок. Нельзя помещать Натали в мой дом, зная, что хозяин его или Штейнфельд, возможно, виновны в смерти Анхен. Неизвестно, как

они с Натали обойдутся. Тогда уж больше смысла поселить там человека, который покажется им вовсе посторонним и сможет разведать...

– Меня! Я этот человек! – громко завопил Артамон. – Я там поселюсь!

Сурков только рукой на него махнул.

– Если Луиза действительно в сговоре с ювелиром и с Шмидтом, то сейчас ей решительно незачем являться на Малярной улице, – сказал он мне. – Ты же гонялся за ней впотьмах, и она вправе опасаться, что кто-то из соседей ее видел. Это в случае, если она действительно совершила убийство...

– Братцы, я сейчас же иду на Малярную улицу, – перебил его Артамон. – Вы подумайте – комната в тихом месте, куда можно будет приводить миленьких немочек! Не на лодку же мне их приглашать! И не в Цитадели же с ними любезничать!

– И что ты скажешь Шмидту? – спросил я.

– Он по мундиру моему догадается, что я моряк из флотилии Моллера. Я же скажу ему только то, что ты в эту комнату, скорее всего, уже не вернешься, и сделаю значительный вид. Он побоится меня расспрашивать и даже оставит твое имущество в полном моем распоряжении – мало ли что, а неприятности ему не нужны. Разве не разумно?

– Да нет же, миленькие немочки подождут! Там нужно спрятать Натали – и чтобы она не выходила, пока мы не поймем, кого Филимонов дал ей в камеристки! – возразил Сурков.

– Да хватит вам ссориться, – вздохнул я. – Первым делом вам надобно пойти на Малярную улицу и вселиться в мою комнату, покамест она свободна и вещи не пропали. А потом уж будем решать, кому в ней жить!

– А Морозка дело говорит! – заявил Артамон.

Свечкин с Гречкиным уже и без того догадывались, что мое внедрение в экипаж канонерской лодки – штука загадочная. Теперь же они окончательно в этом удостоверились. И Сурок первым это понял.

– Христа ради, молчите, братцы, обо всем, что вы случайно увидели или услышали, – сказал он матросам. – Тут такая каша заварилась, что невинного человека могут в каторгу сослать. Где тут ближайший православный храм?

– Алексеевский, – ответил я. – К нему можно удобно дойти по Малой Замковой.

– Пойдем ли мы в храм, чтобы вы перед образами обещались молчать? – спросил Артамон своих матросов. – Или прямо тут побожиться, что никому в команде ни единого слова не скажете про товарища вашего Печкина?

Они побожились, а далее мы увидели небольшой отряд матросов, быстрым шагом возвращавшихся из Риги в порт, и разделились. Я с Гречкиным и Свечкиным, замешавшись в полосатую толпу, направился к мостику через ров между Цитаделью и Рижской крепостью, а родственники мои пошли искать Малярную улицу. Когда я вспомнил, что просил их отнести Натали хоть немного денег и едва не хлопнул себя по лбу за несносную забывчивость, они были уже далеко.

Мы шли мимо Цитадели и видели, что там – великая суeta, артиллеристы занимают места на бастионах у орудий, слышны команды пехотинцам. Похоже, лодки пришли вовремя, вот теперь только и начинается для нас война, подумал я. Из переклички артиллерийских офицеров выяснилось: в замок пришло очередное донесение о том, что неприятель выше по течению налаживает переправы, и потому вот-вот начнут жечь Московский форштадт.

В порту обнаружилось, что контр-адмирал и вице-адмирал получили из Рижского замка приказ выходить и двигаться вверх по течению. Оба, и Шешуков, и Моллер, были тут, каждый со своей свитой, и я проскочил мимо Николая Ивановича, старательно отворачиваясь.

Когда Артамон и Сурков прибежали к своим лодкам, первые суда уже выстраивались на фарватере, и помощники моих родственников пребывали в некоторой растерянности, не видя своих командиров.

– Сговорились, – кратко бросил мне запыхавшийся Артамон. – И задаток дал. По местам, молодцы! Сегодня увидим мы занятное зрелище – и будь проклят тот, по чьей милости оно состоится!

Он имел в виду грядущий пожар предместий.

– А это еще вилами по воде писано, – тихонько возразил я. – В самом начале военных действий был переполох – враг идет, спасайся кто может. На десятый день после того, как объявили военное положение, майор Анушкин, командующий кавалерийским отрядом в разведке, донесение прислал, весь Рижский замок в ужас привел. Видел-де он уже у самой Митавы прусские колонны и через полчаса они непременно будут у рижских ворот, хотя он, Анушкин, приказал зажигать за собой мосты! А это наши казаки стадо быков к Риге гнали, быки пыль подняли непроглядную...

– И что ж?

– Разозлил фон Эссена до чрезвычайности. Когда все выяснилось, фон Эссен велел отдать его под суд за то, что опозорил мундир свой и шпагу, да заодно две губернии перепугал.

– На сей раз, сдается мне, то были не быки. А вы чего встали?! – накинулся Артамон на матросов и гребцов. – По местам, живо! Гречкин, Свечкин, Печкин, вы пока останьтесь!

Решив, что таким ловким маневром он не вызовет у команды подозрений, сообщая новости лишь мне одному, Артамон продолжал:

– В замок прискакал главный курляндский лесничий, герр Ренне, или как там его. И доложил, что неприятель переправляется через Двину в семи верстах выше Риги.

– Когда? – сразу спросил я.

– Вот! И я сразу, услышав, подумал: когда? Спросил у товарищей, и мне тут же ответили: и часу не прошло. Вот те раз, подумал я, мы ж ходили на йолах до самого Даленхольма, никакой переправы не видали! А это никак не семь верст, это чуть ли не пять морских миль! Побежали мы с Сурком к Моллеру, он сам в недоумении. Говорит, я здешних дел еще не знаю, но коли фон Эссен отправил проверить донесение не абы кого, а начальника своего штаба подполковника Тидема-на с отрядом, то положение нешуточное.

– Черт знает что... – пробормотал я. – Не сошел же фон Эссен с ума...

Лодки, причаленные одна к другой, разъединялись, со всех сторон звучали громкие командирские голоса:

– Весла – на воду! И – раз! И – два!..

С лодки на лодку понеслась весть – прискакал гонец, неприятель точно форсирует Двину! И из Цитадели уже выходят три батальона пехоты, чтобы прибыть к переправе разом с лодками!

– Бред сивой кобылы, – пробормотал Артамон. – Но если так, мы с ними славно переведемся! Семь верст, коли верить картам, это где Фогельсхольм и Малый Любексхольм жмутся к правому берегу, а к левому – Люцаусхольм. Занятное место для переправы! Что ж, они так и будут, как козы, скакать с острова на остров?!

Я отродясь не хаживал на канонерской лодке, а для Артамона это уже было дело привычное.

Западный ветер благоприятствовал нам. Вытянувшись на якорях на середину реки, канонерки в полветра двинулись против течения к Даленхольму.

Не желая мучиться с лавировкой, вся флотилия сперва по возможности прижалась к наветренному берегу. Неприятность была только одна – постоянно налетающие из-за деревьев шквалы, требующие предельного внимания от рулевых и шкотовых матросов. Чтобы уберечься от излишнего крена и рысканья, шкотовым матросам велено было держать шкоты на руках, на некоторых канонерках даже взяли рифы или держали паруса в потравку.

Сложнее всего было заходить в протоки – там начиналась лавировка с метанием от берега к берегу и бесконечными поворотами, шверт то и дело чиркал по дну. Канонирам, и того весе-

лей, приходилось постоянно уворачиваться от пролетающих над головами реев и следить за орудиями, чтобы они оставались в мало-мальски горизонтальном положении.

Через несколько часов, обшарив все протоки и никого не обнаружив, флотилия повернула обратно.

– Самый бестолковый рейд, какой только можно вообразить, – сердился Артамон, когда с борта на борт полетел приказ поворачивать к Риге. – Целый вечер толчемся на здоровенных корытах в протоках, где только на яликах ходить. И что-то рановато темнеет, братцы...

– Душно, небо тучами обложено, быть ночной грозе, – сказал Свечкин.

– Быть грозе... – подтвердил кто-то у меня за спиной.

По течению идти стало не в пример легче. Я пошел на нос к канонирам смотреть, как приближаются черные шпили рижских церквей. Вдруг на Карловом бастионе гроыхнула пушка. Это был один-единственный выстрел, и он еще не означал приближения противника – он означал сигнал зажигать Московский форштадт.

Когда мы прошли почти весь Газенхольм, предместье уже полыхало.

Вслед за Московским форштадтом вспыхнул Петербургский, где к сожжению намечались не все дома, а лишь часть. Обыкновенный перед грозой сильный ветер обратился в сущую бурю и понес клубы дыма и горящие щепки прямо на рижские бастионы и рavelины. Стало светло, как днем, и жители, стоя на тридцатифутовых стенах, каждую минуту ожидали, что начнутся пожары и в самой Рижской крепости. А коли так – город незащищен перед вражеским приступом.

Некоторые лодки направились к порту и пришвартовались у Андреасхольма, подальше от горящего Петербургского предместья. Мы отошли к левому берегу и пережидали эту беду, чтобы ветром к нам не принесло огня. Я задремал и проснулся на рассвете, когда пожар уже стихал – тем более, что по приказу фон Эссена были высланы пожарные команды. Когда же мы вернулись в порт, то узнали скверные новости.

В Рижском замке состоялся военный совет, на коем фон Эссен узнал о себе много любопытного и неприятного. Контрадмирал Моллер, хоть и происходил из лифляндского рода, рижанином себя не считал и имел свою точку зрения на кое-какие здешние безобразия. Шешуков поддержал его. Николай Иванович, собственно, и принес в порт новости, которые вскоре дошли до нас, а именно: в Рижский замок прибыл гонец, посланный курляндским лесничим Ренне неведомо откуда, он-то и доложил о переправе. Явились законные вопросы – где нелегкая носила Ренне после того, как он сообщил фон Эссену о переправе, какого черта он вообще убрался из замка, с какого перепоя померещилась ему очередная несостоявшаяся переправа и почему гонцом своим он избрал местного крестьянина, явившегося на собственном низкорослом коньке. Более того, мы решительно отказывались понимать, где бродил весь вечер Тидеман со своей свитой и казаками. Пройти семь верст вниз по течению, чтобы убедиться в отсутствии вражеской переправы, можно и пешком весьма скоро, а Тидеман был верхом, на хороших конях. То есть уж за два-то часа он мог обернуться!

– Всякие беспорядки бывают на войне, но это уж всем беспорядкам беспорядок, – заключил Сурков. – Будь я на месте маршала Макдональда – послал бы взвод инвалидов к южному мысу Люцаусхольма даже не переправу налаживать, а просто возить взад-вперед бревна на телегах. Этот взвод оттянул бы на себя всю рижскую пехоту, конницу и флот, а тем временем я бы распорядился быстро выдвигать артиллерию и ставить батареи на левом берегу, супротив Рижской крепости и Цитадели! И некому было бы отогнать меня – потому что все канонерские лодки дурью маются у Люцаусхольма!

– Эта нелепость выйдет фон Эссену боком, – добавил Артамон и ведь как в воду глядел!

То, что город зажгли на ночь глядя, было еще не самой скверной промашкой фон Эссена. Дернул его черт с утра отдать приказ объявить, что жители форштадтов могут спокойно возвращаться в свои дома, а потом, когда они таки вернулись, после прибытия загадочного гонца

от Ренне – рассылать полицейских и солдат, чтобы гнать обывателей обратно в крепость. И то еще неизвестно, всех ли предупредили. Плохо иное – новости в маленьком городе разлетаются быстро, и рота охраны порта, набранная из горожан, тут же разнесла весть, что никакой переправы не было, что лодки вернулись, даже издали не видав неприятеля, и пожар оказался напрасным. Другое дело, что рано или поздно предместья, очевидно, пришлось бы сжечь, но толпа обыкновенно не видит дальше собственного носа, и к Рижскому замку повалили возмущенные горожане.

Тут сделалось известно, что в Петербургском форштадте от переменившегося ветра занялись и сгорели дома, которые не были назначены к сожжению и потому жители их не покинули. Непонятно откуда понабежала всякая шваль и принялась поджигать строения с целью пограбить. Меж горящих зданий метались погорельцы, отстаивая свое имущество, завязывались драки, кого-то в суматохе удалось пленить, но не нашлось полицейских, чтобы сдать им преступников, и горожане привели их с собой связанных.

Толпа, разозленная не на шутку, стояла перед воротами на Замковой площади, люди кричали: «Убийца! Поджигатель!». Они были страшны – в грязной одежде, в повязках, прикрывающих ожоги, женщины с ревущими детьми на руках; Боже упаси когда-либо в жизни держать ответ перед такой массой людей! В основном толпу составляли латыши и русские – они-то главным образом жили в предместьях.

Стояли среди них и студенты-волонтеры из Дерпта – гарнизонный госпиталь также сгорел, как и милый моему сердцу храм «Живоносный источник», и юноши эти, воспитанные в покое и довольстве, всю ночь спасали раненых и доставляли их в крепость. Более всего мне было жаль их – они за одну эту ночь поняли, что такое война и как мало значит в ней подвиг человеческой души, если командиры гроша ломаного не стоят...

Фон Эссен к обывателям не вышел – да и потом едва ль не прятался от рижан. Особоливо когда стали известны цифры: сгорело около восьми сотен зданий, без крова осталось чуть ли не семь тысяч жителей предместий, немногим меньше, чем население всей Рижской крепости. Убытки от пожара и считать боялись – впоследствии оказалось, что почти семнадцать миллионов рублей.

– Как все нелепо, – сказал я Артамону и Суркову. – А я-то хотел показать вам староверческие кварталы Московского форштадта, сводить вас в Гостиный двор! Нет больше Гостиного двора...

Тут некое воспоминание потревожило меня, да и пропало. За что-то в памяти моей цеплялся Гостиный двор, вернее, что-то цеплялось за него, словно бы рыболовным крючком.

– Скверно вышло с мародерами, – сказал Сурок. – Ну вот куда их теперь девать?

По розыску явилось, что к разграблению домов приложили руку русские плотогоны. Понять, почему так вышло, мы могли. Здоровые мужики оказались без работы, а значит, и без заработка, многие попросту голодали, им даже не на что было вернуться домой, да они и боялись возвращаться без денег. Вот и нашли способ разжиться...

Сурок, в противовес своей язвительности, иногда вдруг бывал не в меру жалостлив, то и дело пытался приютить на судне какую-то живность. Но порой его жалость была такова, что не хотелось давать ей возможность расти и шириться – вот как сейчас. Оттого, что плотогонов пожалел командир двух канонерских лодок, им не полегчает. Кормить за свой счет ораву в три тысячи глоток, коли не более, и похитить из тюрьмы несчастных мародеров мой племянник все равно не может, а все прочее, увы, лишь сотрясение воздуха.

– Как бы то ни было, а надобно срочно вселяться в твою комнату, Морозка, – вспомнил Артамон. – Если я не появлюсь сейчас же, твой Шмидт решит, что я утоп на отмели у Любекс-хольма и следует срочно искать другого постояльца. Сейчас такая комната лучше акций и ценных бумаг!

И он поспешил на Малярную улицу, предупредив нас с Сурковым, что сразу же вернется.

– Эк ему не терпится заманить в комнату хорошенькую немочку, – ухмыльнулся Сурков. – А знаешь ли что? Пока его нет, я велю вытащить на берег селерифер! То-то ты удивишься!

И я понял, что никакая война полностью не подчинит себе человека. Только что он был мрачен, осознавая ее ужасы, и вот он уже бежит по своим смешным делам, вот уже отдался своим веселым заботам. Очевидно, иначе ему на войне никак не выжить, подумал я, вот ведь и сам я, обвиненный в двух убийствах и совершивший третье, не рыдаю в отчаянии круглосуточно, а премило катаюсь на йоле и канонерской лодке, получая огромное удовольствие от уроков обращения с парусами. Жизнь такова и спасение наше в том, чтобы не видеть в ней трагедии господина Сумарокова, иначе и впрямь ткнешь в себя кинжалом, даже не дожидаясь пятого действия.

Глава восьмая

Селерифер племянника моего оказался престранным сооружением.

Вообразите себе выкрашенную в красный цвет доску, длиной около двух аршин, шириной в четыре вершка и толщиной в один. К ней приспособлены сзади и спереди деревянные рога, а меж этими рогами – колеса, наподобие колес для брички. То есть когда колеса, схваченные этими рогами, стоят на земле, как им полагается, доска немного возвышается над ними. Посередине устроено сидение – старое седло, прочно привязанное к доске. А спереди из доски торчит штырь непонятного назначения.

– Каково? – спросил Сурок. – У англичан это любимая забава.

– А как прикажешь забавляться? – осторожно спросил я.

– Да просто! Садись в седло, как на лошадь, отталкиваешься ногами то справа, то слева. Когда селерифер разгонится, поднимаешь ноги и едешь!

– Куда?

– Куда хочешь!

Восторг в голосе племянника показался мне подозрительным; когда человек восклицает, выпучив глаза и прерывисто дыша, – жди беды. Потому я пригляделся к двухколесному диву внимательнее.

– Как же, если это твое чудище невозможно повернуть? Ты уж открыто говори – едешь по прямой, а если тебе навстречу телега, или человек, или лошадь, вся надежда на то, что они уступят тебе дорогу.

– Да мы с плотником Сидором уж думали об этом. Только голова нам все портит...

– Какая голова?

– Лошадиная...

Я понял, что мой язвительный дядюшка, высмеивая сурковский селерифер, не токмо что был прав, а еще и проявил деликатность.

– На что тебе лошадиная голова? – спросил я своего племянника.

– Умные люди присоветовали. Сказывали – в Париже голову спереди ставят, и получается, вроде на лошади едешь. Но если поставить голову, то совершенно невозможно сделать устройство, чтобы переднее колесо поворачивалось. Вот в чем беда!

– На штырь, стало быть, насаживается лошадиная голова? – уточнил я.

– Да, только она покамест не готова. А конский хвост привязать можно, хвостом я уже запасся! Хочешь покататься?

Я, может, и рискнул бы, но на берегу вокруг нас собрались матросы и гребцы, делая насчет селерифера разнообразные замечания, порой весьма остроумные, жаль только, что все они забылись.

– А я прокачусь! – сказал мой отчаянный племянник и сел верхом на селерифер.

Место для такой поездки было выбрано, с одной стороны, подходящее – речной берег, где утоптанная земля граничила с мягким песком, так что, падая, Сурков не расшибся бы. С другой стороны, он рисковал заехать в реку.

Отталкивая попеременно то правой ногой, то левой, он покатил вперед. Сделав несколько таких шагов-прыжков, селериферный наездник поджал ноги – и тут только я понял главную беду этого сооружения. Оно нуждалось в рессорах или хотя бы в стремянах – даже на мягкой земле Сурков, державшийся за штырь для лошадиной головы, подскакивал и шлепался обратно на седло весьма ощутимо, каково же было бы разъезжать по булыжным улицам Риги? Он отбил бы себе все филейные части, и не только.

Как я и полагал, добром это путешествие не кончилось. Берег не так ровен, словно его провели по линейке, Сурков, норовя хоть как-то повлиять на движение своего колесного сред-

ства, начал вздергивать вверх штырь, предназначенный для крепления лошадиной головы, полагая, что селерифер, вставший на одно колесо, удастся как-то повернуть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.